Наринэ Абгарян
Книга о горьком
и смешном
мире людей,
которые живут,
не замечая
времени
ЗУЛАЛИ

Наринэ Абгарян

Зулали (сборник)

«АСТ»
2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

Абгарян Н. Ю.

Зулали (сборник) / Н. Ю. Абгарян — «АСТ», 2016

Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

© Абгарян Н. Ю., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Зулали 6
Салон красоты «Пери» 26
Конец ознакомительного фрагмента. 37

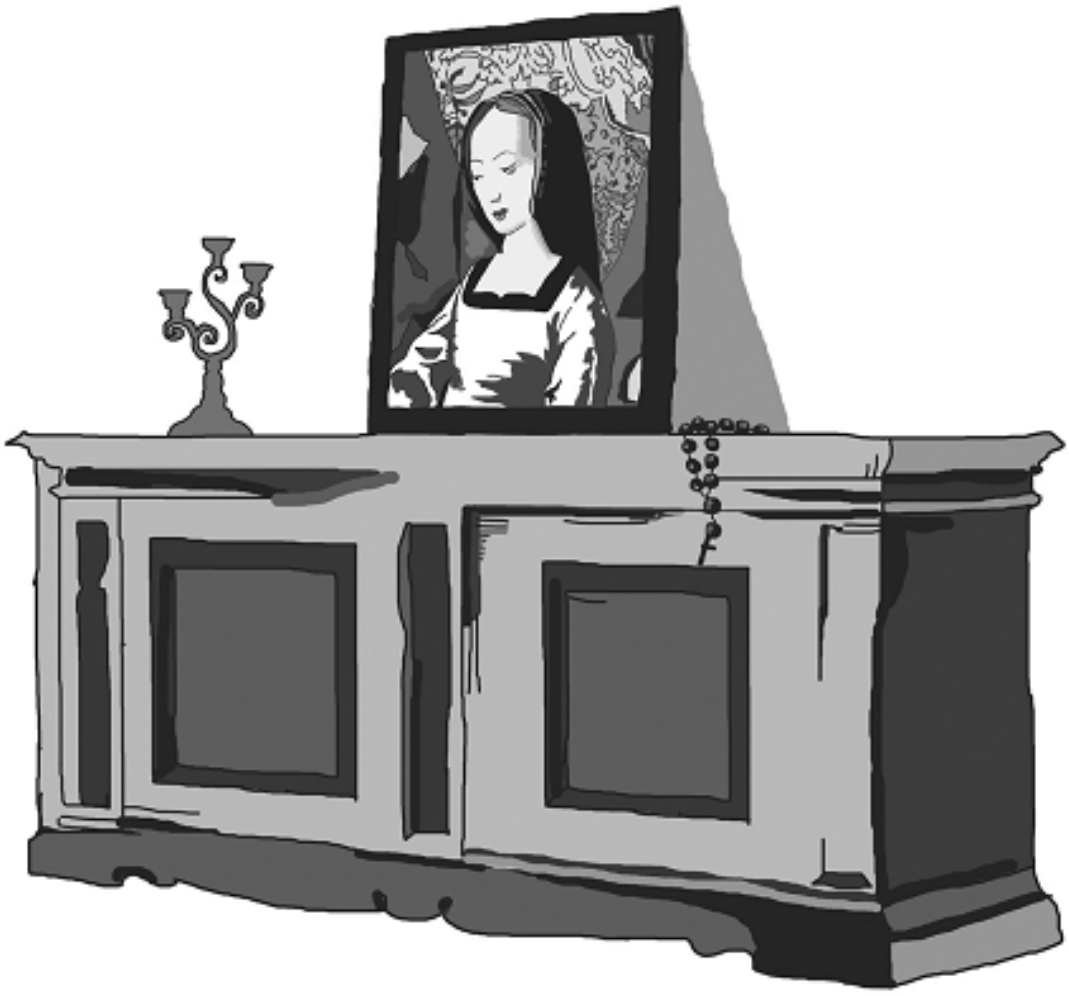
Наринэ Абгарян
Зулали

© Наринэ Абгарян, текст, 2016
© Александр Заварин, иллюстрация на обложке, 2016
© Сона Абгарян, иллюстрации, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016

***

Инне Александровне Шпольской – с нежностью и благодарностью

Зулали



1

Если спросить у Зулали, какое нынче время года, она отвечает, ничуть не сомневаясь: «Весна».

Мамида ворчит, что Зулали потому и такая, что у нее всегда весна.

– Другие уже облетают листьями, а наша Зулали еще даже подснежников не набрала, – цокает она языком.

У Мамиды широкая мужская спина и такие руки, что иной раз остерегаешься подойти – а вдруг она тебя нечаянно ими заденет. Костей ведь тогда не соберешь. Мамида ступает медленно, вразвалочку, вперив правый кулак в бок, левая рука качается, словно маятник, юбка топорщится оборками на большом животе, Мамида отчего-то решила, что чем больше на одежде складок, тем меньше видно полноты. Полнота у нее такая, что порой удивляешься, как у нее получается так ловко при своих размерах двигаться.

Мамиде столько лет, что не сосчитать. Она громкая и хлопотливая, а еще – терпеливая, хотя вывести ее из себя раз плюнуть. А еще она очень не любит, когда ее отрывают от теста. «Тесто – это все!» – приговаривает Мамида, разминая огромный, размером с колесо

телеги ком своими большими руками. «Это все» в ее понимании означает действительно все, начиная с «не отвлекай, если не хочешь схлопотать на свою голову проблем», и заканчивая «ничего важнее этого в мире нет».

Зулали сидит на краешке стула, выпрямив спину, мнет крохотный кусочек теста на самом углу стола. У Зулали высокий лоб, длинный узкий нос и тонкие губы. Она похожа на Анну Бретонскую, портрет которой стоит на комоде в комнате деда. Если сделать Зулали пробор посередке, а волосы спрятать под накидку, получится вылитая Анна Бретонская. У Зулали такое красивое лицо, что можно смотреть бесконечно. Жаль, что эта красота исчезает ровно в тот миг, когда она открывает рот. Говорит она плохо, неряшливо, закатывая глаза и дергаясь лицом, к тому же не произносит большую часть звуков, потому приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что она хочет до тебя донести. По большому счету, кроме десятка звуков, Зулали не может сказать ничего. Потому «хорошо» в ее исполнении звучит как «оошо», а весна – «ена».

– Лучше бы ты онемела, зато соображала, – иногда заявляет Мамида. Она всегда очень искренна в своих пожеланиях, потому если говорит, что лучше бы Зулали онемела, то так и думает.

Зулали замирает с открытым ртом.

– Закрой рот, а то муха залетит! – Мамида щедро припорашивает деревянное корыто мукой, перекладывает туда тесто, накрывает чистым льняным полотенцем.

Зулали мелко смеется, прикрыв рот ладонью. Мамида смотрит на нее так, словно прикидывает в уме – стоит в очередной раз напоминать о том, что смеяться, мелко трясясь, как овца на ветру, женщине ее возраста не пристало. Потом она вздыхает и, так ничего и не сказав, уходит мыть руки. Выцветшие половицы жалобно скрипят под ее тяжелыми шагами, туфли она носит большие, мужские, женской обуви на ее ногу не достать. Одно время ей шили на заказ в обувной мастерской, но потом она рассорилась с сапожником вдрызг и никогда больше не переступала порог его дома.

– Посмотрим, где ты будешь обувь покупать! – кричал он ей вслед, потирая ушибленное плечо – это Мамида, выходя, подвинула его так, что сапожник вписался головой и плечом в стену. Голове ничего, а плечо потом долго болело.

С того дня Мамида носит мужскую обувь; женскую, сшитую в мастерской, она в тот же день отправила со мной обратно. Вымыла, аккуратно обсушила, натерла топленым гусиным жиром, завернула каждую туфлю в обрывок вощеной бумаги, уложила рядками в сумку. Сверху водрузила бутыль виноградного уксуса. Велела отнести и оставить на пороге обувной.

– А уксус зачем? – полюбопытствовал я.

– Чтоб выпил и сдох!

Судя по тому, что сапожник до сих пор здравствует, уксус он пить не стал. Куда туфли Мамиды девал – не знаю. Я поздоровался, оставил авоську на пороге мастерской и ушел. Страшно подмывало спросить, из-за чего они поссорились, аж до чесотки в лопатках подмывало, но я не стал – Мамида бы в жизни меня не простила, если бы узнала, что я заговорил с сапожником.

Дождавшись, когда она выйдет из комнаты, Зулали поднимает край льняного полотенца, кладет на тесто комочек своего, который долго мяла в руках. Ее тесто цветом темнее, чем то, которое месила Мамида.

– Ты снова плохо вымыла руки! – закатываю глаза я.

Зулали смеется. На подбородке у нее крошки засохшего теста. Я вытаскиваю из кармана дедов платок, протираю ей лицо. Убираю платок обратно, предварительно тщательно отряхнув и сложив в несколько раз.

– Пойдем, я помогу тебе вымыть руки, – говорю я.

Зулали поднимается со стула, она молчит, потому лицо у нее снова такое красивое, что хочется смотреть и смотреть – большие глаза, тонкий длинный нос, высокий лоб. Волосы у Зулали темные, но на солнце переливаются рыжиной. За эту рыжину я ее особенно люблю, у деда была ровно такая же рыжина – в бороде и даже в бровях, а волосы у него были седые и густые, можно было пальцами запутаться. Волосы деда пахли старостью и табаком.

Мамида как раз закончила мыть руки и залила в рукомойник новую порцию воды. С того дня, как деда не стало, с водопроводом что-то неладно, он то действует, то нет. Мастер, которого мы вызвали, проверил все и развел руками – не могу понять, что тут не так, вроде поломки нет, засора тоже.

Мамида выставила его из дому и вызвала другого мастера, которого тоже потом выставила за порог. Больше она никого не вызывала, сходила к соседке и выпросила старый рукомойник, который без дела пылился на чердаке. Мы хорошенько натерли его речным песком и золой, и он стал почти как новый. Потом мы с Мамидой долго ходили по двору, выбирая место, куда можно его повесить. В итоге прибили к подпорке веранды, на такой высоте, чтобы мне можно было мыть руки, не вставая на цыпочки, иначе вода потечет по локтям прямо в подмышки. Рукомойник очень красивый – большой, медный, с ходящим вверх-вниз стержнем и съемной крышкой, куда нужно заливать воду – ровно два с половиной кувшина.

Мамида отошла в сторону, полюбовалась, как бликует солнечный луч на выпуклом боку рукомойника.

– Сияет, как у слона яйца, – удовлетворенно сказала она.

Я захихикал. Мамида шутит так, что живот можно от смеха надорвать. Дед в ней больше всего это и любил. Так и говорил – если бы не твои шутки, я б давно тебя из дому выгнал. Мамида фыркала: «Ты-то!» – и смотрела на него так, будто дед – это мошка, а она – мухобойка. «А что? – хорохорился дед, он всегда хорохорился, когда препирался с Мамидой. – А что? Или не я в этом доме хозяин?»

Мамида молча складывала большие руки на своей большой груди. Смотрела исподлобья. Шумно вздыхала.

– Ну чего ты? – беспокоился дед. – Я же пошутил.

Мамида еще раз шумно вздыхала:

– Что бы вы без меня делали!

Дед лез в карман – за трубкой.

– Что бы мы без тебя делали! – приговаривал, набивая трубку табаком. – Что-бы-мы-без-тебя-делали!

– То-то, – хмыкала Мамида.

После похорон деда она три дня ни с кем не разговаривала и ничего по дому не делала. Лежала в его постели как была, в траурном платье и платке, накрывшись одеялом по подбородок, и смотрела в потолок. В углу комнаты стояли ее истоптанные туфли – съехавшие набок пятки, сбившиеся стельки. Сквозь глухо задвинутые шторы пробивался одинокий солнечный луч, он медленно полз по комнате, спотыкаясь то о край домотканого паласа, то о забытые на тумбочке четки с обломанным крестиком, то о неоконченный толстенный том – дед всегда любил читать. До Мамиды солнечный луч не добирался, шарил по краю тахты и, скользнув по простыне, угасал, словно его и не было. Мы с Зулали много раз на дню наведывались к ней – приносили поесть и попить, сидели рядом, я плакал, Зулали улыбалась, Мамида молчала. К еде она так и не притронулась, поднялась только на четвертый день и вернулась к домашним делам.

Поскольку вода у нас теперь с перебоями, Мамида набирает ее про запас, одну часть оставляет для питья и готовки, другую – для хозяйственных нужд. Я отвечаю за поливку огорода, а потому каждый вечер убираю крышки стоящих под водостоками дождевых бочек на случай, если пойдет дождь, а утром накрываю бочки обратно, чтобы солнце не выпарило

воду. Остальную работу по дому проделывает Мамида – готовит, убирает, стирает-гладит, печет хлеб. Зулали мало чего умеет делать, по правде говоря – ничего не умеет, потому просто ходит за Мамидой и повторяет за ней: возьмет Мамида полено, чтобы печь растопить, она берет второе, подметает Мамида двор – Зулали рядом бестолково размахивает метлой. Чаще всего Мамида молча сносит ее попытки быть полезной по хозяйству, но иногда, когда дел много, а рук на все не хватает, она раздражается. В такие дни я увожу Зулали туда, куда Мамида никогда не заглядывает, – в комнату деда.

Со дня его смерти там мало чего изменилось, если только пыли поприбавилось, а углы потолка затянулись паутиной. Мы с Зулали иногда неумело убираемся – то подметем, то пыль протрем. Форточка приоткрыта, потому в грозу комнату заливает дождем. Я пытался ее захлопнуть, но у меня ничего не вышло – створка накрепко заложена дощечкой. Когда дождевая вода высыхает, на подоконнике остаются грязные разводы. Я протираю их мокрой тряпкой, но грозы в последнее время случаются чуть ли не каждый день, так что подоконник дедовой комнаты почти всегда в темных пятнах. Четки со сломанным крестиком так и лежат на тумбочке, на спинке стула висит его пиджак, из недочитанной книги торчит закладка – белое гусиное перо. Я бы, наверное, прочитал эту книгу, если бы умел. Но дед умер, и теперь некому учить меня грамоте. У Мамиды прохудились глаза, почти не различают буквы, даже через лупу, потому она старается лишний раз их не напрягать. А Зулали читать не умеет. То есть когда-то она все умела – и читать, и писать, и вообще очень умной была. Но потом с ней что-то случилось, и она стала такой, какая сейчас. Иногда она болеет кровью, оставляет за собой на полу капельки. Или сядет, потом встанет – а на платье сзади пятно. Думаю, кровь у нее течет оттуда, откуда она писает (больше-то вроде неоткуда!). Мамида, заприметив капли крови, ахает, уводит Зулали в ее комнату, помогает переодеться, бухтит, что ей надо сто раз одно и то же объяснять. Однажды я спросил у Мамиды, что это такое с Зулали. Она с минуту придирчиво разглядывала меня, словно прикидывала, можно ли мне доверять, потом вздохнула. Ты уже большой, говорит, потому тебе можно рассказать: у Зулали недомогание, которое со всеми женщинами случается. «Это болезнь?» – «Нет, ну что ты!» – «Она от этого умрет?» «Не умрет. Скоро эти недомогания кончатся навсегда». – «Почему кончатся?» – «Возраст». «У тебя они тоже были?» – «Были. А потом перестали». Мне хотелось еще спросить, почему только женщины болеют кровью, но Мамида месила тесто, а тесто для нее все, потому я не стал ее отвлекать. В другой раз спрошу.

Напротив кровати деда, на комоде, стоит портрет в рамке. Если заглянуть на его обратную сторону, можно увидеть надпись, выведенную аккуратными завитушками: «Анна Бретонская принимает от Антуана Дюфура рукопись „О знаменитых женщинах“ (ок. 1508)». «Ок. 1508» означает, что портрет (был бы жив дед, поправил бы, что это миниатюра, но мне проще говорить портрет) нарисован (дед бы поправил – написан) в 1508 году. И даже не совсем в тот год, а несколькими годами раньше или позже. Потому и «ок.», то есть «около». Мне так понравился этот «ок. 1508», что однажды я исписал им окна. Мамида тогда ругалась будь здоров, она как раз провела предрождественскую уборку, дома было так чисто, что хотелось каждую минуту мыть руки, лишь бы ненароком не испачкать чего-нибудь. Ночью ударил мороз, и окна холодной кладовой, где хранятся всякие припасы и заготовки, покрылись кружавчиками инея. Если поскрести ногтем – он легко соскребался, оставляя прозрачную борозду. Вот я и исписал окна кладовой, докуда дотянулся, «ок. 1508». А потом иней растаял, и на стеклах остались пятна. Мамида сначала отругала меня, потом, громогласно жалуясь на судьбу, принялась протирать испачканные окна раствором нашатыря. Дед тогда увел меня в свою комнату, усадил за стол, положил передо мной лист бумаги, чернильницу, остро наточил перо.

– Пиши тут.

Писать мне больше не хотелось, потому я нарисовал Зулали, Мамиду, деда и себя. Чуть подумав, вывел в углу «ок. 1508». Перо скрипело и брызгало чернилами, потому клякс на рисунке было столько, что и не разберешь, что там нарисовано. Но деду очень понравилось. Он дал чернилам подсохнуть и пошел хвастать моим творением перед Зулали и Мамидой. Зулали повертела рисунок в руках и вернула деду, а Мамида почему-то растрогалась.

– Этот бегемот – я? – спросила она, тыча локтем (руки были в мыльной пене) в свой портрет. И пустила слезу. Покончив со стиркой, она выпросила у деда рисунок и повесила над изголовьем своей кровати, слева от распятия. Справа от распятия покачивались ее четки с еще целым крестиком.

Когда мы с Зулали проводим время в комнате деда, я подвожу ее к портрету Анны Бретонской.

– Ты помнишь, что вы с ней похожи? – допытываюсь я.

Зулали переводит взгляд с портрета на меня, не понимая, чего я от нее хочу.

– Неужели ты не видишь, что вы похожи? – настаиваю я.

Зулали улыбается. Она всегда улыбается, когда не понимает, чего от нее хотят или что происходит. Потом она нерешительно дотрагивается до моей макушки.

– А-а-ос.

– Да. Только не Ааос, а Назарос. Скажи Н-а-з-а-р-о-с. Ну хотя бы попробуй. Скажи «Н».

Зулали улыбается.

– Ладно, – вздыхаю я.

Она продолжает улыбаться уголками губ. Смотрит не мигая, напряженно.

– Какое сейчас время года, Зулали? – уступаю я.

– Е-на, – оживает она.

– Весна, да.

На дворе конец августа.

Пока я водил Зулали мыть руки, Мамида успела прополоть половину огорода. Сорняк в этом году растет с таким нахрапом, словно так и должно быть. За жаркий июль выгорела почти вся зелень, только соцветия лука торчали нелепыми большеголовыми одуванчиками, но в августе вернулись грозы, тоже непонятно с какой стати, и огород снова зазеленел. Мамида на радостях удобрила его сверх меры навозом и теперь два раза в неделю, чертыхаясь, пропалывает грядки. Поработает немного, потом с кряхтением выпрямляет спину, стоит, подбоченившись, унимает головокружение. По лицу струятся слезы – в последнее время у нее от работы в огороде плачут глаза. Она раздражается, вытирает лицо тыльной стороной ладони или вообще подолом своей оборчатой юбки, по вечерам делает специальные успокаивающие примочки, но толку ноль.

– Стара я стала, – приговаривает, лежа со смоченным в мятном настое платком на лице.

Я не спрашиваю, сколько Мамиде лет, не хочу узнавать. Вдруг девяносто девять, и жить ей осталось всего год. В нашем ущелье люди живут ровно сто лет и ни днем дольше. Так мне дед сказал. Как только он научил меня считать, я первым делом прикинул, сколько нам осталось жить. Провозился до ряби в глазах, но справился. Получалось, что мне осталось девяносто два года, Зулали – пятьдесят три, деду – тридцать один. Я очень расстроился, когда сообразил, что жить ему уже не так много. Но деда мои переживания позабавили. «Ну что ты, – рассмеялся он, – тридцать один – это, конечно, не девяносто два, но тоже сойдет». «Что я без тебя буду делать?» – спросил я. «Как что? Жить, работать, воспитывать детей, любить жену». «Мне ничего этого не надо, лишь бы ты был рядом! Вот бы мы умерли в один день!» «А вот это не дело, – нахмурился дед, – младшие всегда должны жить дольше старших». «Ладно», – смирился я и пошел разузнавать у Мамиды, сколько ей лет. Но отвлекся на что-то и забыл. А спустя два дня деда не стало. Не захотел он доживать до положенных ста лет,

ушел раньше. Нашла его на чердаке Мамида. Она всегда просыпалась раньше всех, чтобы успеть подоить и выпустить в стадо корову и коз. Потом она будила деда, чтобы тот растопил жестяную печку, а далее поднимала меня и Зулали. Мамида сразу переполошилась, не обнаружив его в комнате, потому что постель была не разобрана. Пошла искать по дому, нашла его на чердаке. Когда мы с Зулали проснулись, деда уже помыли и положили на тахту. Он был очень бледен и совсем не похож на себя, на шее темнел след от веревки. Похоронили его без отпевания, на отшибе, далеко за кладбищенской оградой. После похорон Мамида пролежала в его постели три дня, а потом поднялась, закрыла за собой дверь и больше никогда в его комнату не возвращалась.

Я выплакал себе все глаза, то есть совсем выплакал, до того, что они превратились в две узкие слезящиеся щелочки с красными веками. Зулали улыбалась, меня это раздражало, я тогда еще не знал, что улыбается она не от радости, а от испуга или горя. Мне хотелось, чтобы она перестала это делать, потому я крикнул ей в лицо: «Зулали, дед умер. Твой папа умер». Она дернулась, словно от удара, замычала: «А-а, а-а». Да, сказал я, папа. Умер. Она заплакала сквозь улыбку, сидела, уронив на колени руки, улыбалась и плакала, и я тоже плакал, от боли и от стыда за то, что заставил ее переживать сильнее, чем она может вынести.

Дед не любил уменьшительных слов, потому всегда называл меня или полным именем – Назарос, или внуком. Зулали для него была или Зулали, или дочь, никогда – дочка. И только Мамиду он называл Мамидой, и мы по его примеру называем ее так. Хотя настоящее имя Мамиды – Майрануш, что означает «нежная мать». Мамида свое имя не любит, считает насмешкой, потому что ей так и не удалось стать матерью, что-то со здоровьем было не так, дети у нее получались, но вылетали. Что такое «вылетали», я не знаю и узнавать, если честно, не хочу, для себя я решил, что у Мамиды дети рождались сразу с крылышками и улетали из дому, как птицы. Муж у Мамиды умер давно, утоп в реке. После его смерти она устроилась в дом деда помощницей и много лет живет у нас. Своего дома у нее нет.

Я не знаю, что будет со мной и Зулали, если вдруг окажется, что Мамиде девяносто девять лет. Я этого очень боюсь, потому не выясняю ее возраст. Сколько проживет, столько и проживет. Она поклялась мне на моем нательном крестике, что поступать с собой, как дед, не станет. Однажды я так и спросил у нее – Мамида, ты тоже себя убьешь? Она прижала меня к своей груди так крепко, что чуть не задушила. А потом взяла мое лицо в свои большие ладони и проговорила, глядя мне в зрачки: «Запомни – я вас никогда не брошу!» И я ей сразу поверил. Еще бы, трудно не поверить, когда тебе ТАК смотрят в глаза, что аж в груди немеет.

Мы с Зулали немного помогаем Мамиде пропалывать огород, потом топчемся рядом, наблюдая за тем, как она разводит в каменной печи жаркий огонь. Сегодня вторник, а по вторникам, два раза в месяц, она печет хлеб – большими караваями и тонкими лепешками. Тот, который большими караваями, уходит на завтрак и обед, тонкие же лепешки мы едим на ужин – Мамида сушит их на жестяной печке или жарит на топленом масле с чесноком и зеленью. Когда хлеб залежится, она варит из него кончол – деревенский хлебный суп на жареном луке, зелени и яйцах. Еды нам хватает, а вот с деньгами у нас не очень. У деда была небольшая пенсия, но его не стало, и пенсии тоже не стало. Мамида теперь печет булочки – с изюмом и миндалем, и продает их на крохотном базаре, что находится на огибающей наше ущелье большой дороге. По этой дороге, поднимая облака пыли и нещадно чадя, ездят машины и рейсовые автобусы. Иногда они останавливаются, чтобы проголодавшиеся пассажиры купили себе попить и поесть. Выпеченные Мамидой булочки разлетаются вмиг, потому что очень вкусные: тесто она замешивает на сливках, изюм замачивает в вине, а миндаль обжаривает с корицей. И обязательно обливает булочки щедрой порцией глазури, которая потом, затвердев, покрывается трещинками, но не осыпается.

На базар мы выбираемся два раза в неделю – в пятницу и в субботу (в субботу в том случае, если в пятницу не все булочки продали), так что по четвергам Мамида печет булочки. А по вторникам, стало быть, хлеб. Сегодня у нас хлебный день.

Растопив печь, Мамида направляется в хозяйственную комнату – пора скатать поднявшееся тесто в круги. Я люблю наблюдать, как она возится с хлебом: движения ее несуетливы и наполнены смыслом, иногда мне кажется, что она разговаривает с тестом своими смуглыми натруженными руками и оно ей отвечает. Я могу часами любоваться тем, как она просеивает муку, добавляет в нее воды и полгорсти закваски, как тщательно месит, как чертит ребром ладони и костяшками пальцев на лепешках борозды, а в центре каждого каравая проделывает дырочку величиной с райское яблочко – через эту дырочку я иногда наблюдаю мир, Зулали, Мамиду. Зулали просто смотрит, Мамида работает, а вокруг ее головы вьется серебряным нимбом мучная пыль.

За то время, что мы провели на огороде, тесто поднялось, и грязный комочек расползся по его белому телу темной родинкой. Обнаружив это, Мамида сердито цокает языком. «Ну что мне с тобой делать, Зулали?» – говорит она. «У-а-и», – тянет Зулали. «Зулали, да», – вздыхает Мамида, смачивает в воде острый нож и срезает с мягкого живота теста неопрятное родимое пятно.

– Выкинешь? – спрашиваю я.

– Зачем? Испеку, накрошим птице в корм.

– А разве можно ее грязным кормить? – спрашиваю я и тут же осекаюсь, вспомнив, как птица любит самозабвенно ковыряться в собственном помете. Мамида, словно прочитав мои мысли, хмыкает: «То-то!»

Быстрыми точными движениями она отрезает от большого теста комья и скатывает их в круги. Укладывает на обсыпанный мукой деревянный поддон с таким расчетом, чтобы они, поднявшись, не соприкасались боками. На втором поддоне лежат лепешки, их Мамида перед выпечкой еще раз подомнет, чтобы выпустить лишний воздух. К тому времени, когда пора нести к печи взошедшие караваи, на ущелье надвигается тишина, а небо заволакивает тяжелыми тучами.

– Грозы не миновать, – сокрушается Мамида, – вдруг хлеб намокнет? Принеси-ка, Назарос, клеенку из кухни.

Я бегу в дом, Зулали увязывается за мной.

– Побудь с Мамидой, я быстро, – прошу я.

Но она не слушается. Я влетаю на кухню, сдергиваю со стола клеенку, бегу обратно. Зулали не успела добраться до веранды, а я уже внизу. Обегаю дом кругом, стаскивая с дождевых бочек крышки. Зулали плетется за мной.

– А-а-ос!

Клеенкой Мамида укрывает вынутый из печи горячий хлеб. Нужно успеть как можно скорее донести его до погреба и разложить на полках, чтобы он остыл и обсох. Мамида сердится – даже за те несколько секунд, что хлеб лежит под клеенкой, вкус его портится – мякоть становится тяжелой, корочка теряет хрусткость, а высохнув, делается твердой, а не ломкой.

– Нужно обмануть грозу, – бухтит Мамида.

– Как ты это сделаешь? – удивляюсь я.

– Обойду!

И обходит. Первые тяжелые капли ливня достигают земли, когда мы заносим в погреб последний пышущий жаром хлеб. Мамида быстро раскладывает горячие караваи по полкам вдоль каменной стены, переводит дыхание. Потом накидывает на плечи клеенку, уходит в дождь.

– А-и-а, – мычит ей вслед Зулали.

– Сейчас она придет, – успокаиваю я ее.

– А-и-а!

– Мамида, да.

В небе грохочет, ливень обрушивается водопадом, ветер бьется в окно, но мне не страшно, я не боюсь грозы.

Мамида возвращается, промокшая до последней нитки. Оборчатая юбка хлопает по ногам, кофта свисает аж до колен, в больших туфлях хлюпает вода. Но она не обращает на это внимания, а бережно разворачивает клеенку, достает оттуда плошку с брынзой, масло, зелень, кувшин с молоком. Разрывает мокрыми руками горячий каравай вдоль пополам, вынимает мякоть, откладывает в сторону – птице. Горбушку изнутри промазывает маслом, крошит сыр и распределяет целый пучок разной зелени. Придавливает хлеб ненадолго руками, давая маслу с брынзой расплавиться и впитаться в корочку. Дождевая капля сползает на кончик носа, Мамида задирает голову, капля перебирается на верхнюю губу и бежит по щеке к уху. Я вытаскиваю из кармана платок, привстаю на цыпочки, обтираю ей лицо. Она видит, что это дедов платок, вертит головой – не надо. Но я делаю вид, что не понимаю ее. Протираю лицо, шею. Глаза у Мамиды становятся мокрее – то ли я нечаянно задел, то ли она плачет.

– Ешьте! – снимает она руки с хлеба.

Мы с Зулали едим, зажмурившись от счастья. Вкусно! Мамида уходит за полки, кряхтя, раздевается. Слышно, как она отжимает юбку, потом натягивает ее обратно. Когда она выходит, я начинаю смеяться – мокрая одежда облепила ее так, что она стала похожа на домашнюю колбасу.

– Не смейся с набитым ртом, подавишься, – хмурится она.

Я осекаюсь, утираю выступившие слезы.

В погребе пахнет свежевыпеченным хлебом, растопленным маслом и размякшей, пустившей сок зеленью. Снаружи беснуется гроза, а внутри тихо и спокойно.

– Расскажешь сказку, Мамида?

Мамида откидывает со лба короткие седые волосы. Они почти высохли и вьются у висков мелкими колечками. Она садится на лавку так, чтобы справа осталось место для меня, а слева – для Зулали. Когда мы располагаемся рядом, она кладет свою левую ладонь на колено Зулали, а правую ладонь – на мое колено и в течение всего рассказа рук своих не убирает.

«У Небесного царя было четыре сына-аждаака[1]. Они стояли на разных концах горизонта и держали на плечах небосвод. Старший брат, Аревелк, был кучером. Каждое утро запрягал он своих коней в гигантскую золотую колесницу, сажал в нее солнце и катал его по небу[2].

Второй брат, Юсис, был пастухом. Он собирал на далеком севере облака и пригонял их белоснежным стадом ко дворцу Небесного царя.

Третий брат, Арав, был кузнецом. Он наполнял воздух огненным дыханием, выковывал из него копья и метал их молниями в землю.

А младший брат, Аревмут, был фонарщиком. Он разрисовывал ночное небо звездами и зажигал луну.

Аревмуту было очень скучно по ночам. Поговорить не с кем – остальные три брата-аждаака, уставшие от дневных дел, спят, взвалив на свои плечи небосвод. Аревмут долго и обстоятельно разрисовывал небо, потом сидел, свесив вниз ноги, и смотрел на спящий мир. На рассвете он стирал звезды и гасил луну, уходил на свой край горизонта, взваливал на плечи небосвод и дремал целый день, чтобы выспаться перед ночью.

---

[1] Аждаак – великан.

[2] Аревелк – Восток. Юсис – Север. Арав – Юг. Аревмут – Запад (*арм.*).

Сквозь сон он слышал, как братья о чем-то разговаривают, смеются, шутят. Аревмуту тоже хотелось пообщаться с ними, но он не мог – отец определил ему для работы ночное время.

Младшему брату было очень одиноко. Ему казалось, что он никому не нужен, что никто не ценит его стараний. Он даже просил Небесного отца сделать так, чтобы звезды тоже светили днем. Потому что устал от одиночества. Но отец объяснил, что каждому явлению свое время. Солнце сияет в светлое время суток, а звезды – в темное.

Обиженный Аревмут вернулся из дворца, выкинул золотые краски и кисть, ушел на край света и заперся в глубокой пещере. И настала нескончаемая ночь. Ведь, для того чтобы наступило утро, звезды должны сперва зажечься, а потом погаснуть и луна должна сменять приливы и отливы.

Проснулись братья, а кругом такая темень, что ничего не видать. Попытался было старший брат запрячь коней в колесницу, но не смог их добудиться. Попытался второй брат пригнать с севера облака, но в кромешной тьме не нашел к ним дороги. А без облаков не может быть молний, поэтому и третий брат остался не у дел.

Выпустили они в ночь семикрылых ангелов, чтобы те вернули младшего брата. Ангелы покружили над миром, нашли пещеру, где спрятался Аревмут, но убедить его вернуться не смогли.

Тогда братья попросили ангелов подержать небосвод, и сами пошли уговаривать Аревмута.

– Ага, вспомнили, наконец, обо мне, – обиженно хмыкнул младший брат, когда старшие появились на пороге пещеры.

– Так мы никогда о тебе и не забывали! – изу мился Юсис. – Я всегда отгонял к вечеру облака, чтобы освободить для тебя небо.

– А я протирал его росой, чтобы нарисованные тобой звезды и луна сияли особенно ярко, – сказал Аревелк.

– А я убавлял жар в печи кузни, чтобы ты рисовал в прохладе, – развел руками Арав.

– Но вы постоянно вместе, а я один! – вздохнул Аревмут.

– И поэтому мы по тебе очень скучаем, – крепко обняли его старшие братья.

Аревмуту стало очень стыдно за свои несправедливые упреки. Он отыскал заброшенные золотистые краски и кисти и разрисовал небосвод звездами.

После того случая старшие братья завели привычку заглядывать к младшему, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Семикрылые ангелы подпирали небосвод своими крыльями-радугами, освещая макушки земли полярным сиянием, а братья сидели до самого рассвета, до первого крика петуха, и, свесив вниз ноги, вспоминали детство.

Временами, когда младшему не спалось, он тайком выбирался со своего края горизонта и рисовал на солнце тень луны или земли. Тогда на короткий миг наступало затмение. Братья торопливо обнимались и снова расходились – каждый по своим делам.

И никогда больше Аревмут не обижался на старших братьев, а жил с ними в мире и согласии. Потому что не может быть никого ближе и дороже родных.

А с неба упали три яблока. Одно тому, кто видел, второе тому, кто рассказал, а третье тому, кто слушал».

2

Петухи еще толком не откричали свое, а солнце уже насквозь прожигает. Год выдался тяжелым, а тут еще август не пойми что вытворяет – то ливнем зальет, то градом побьет, то спалит. От погодной блажи самочувствие ни к черту, иногда лежишь, пальцем шевельнуть не можешь, а голова раскалывается так, что моргнуть больно.

Лучше бы, конечно, их дома оставлять, чем по пеклу на край ущелья таскать, но мне так спокойней, я хотя бы не тревожусь за них. Назарос уже достаточно большой, чтобы отвечать за себя, но с Зулали ему не справиться, я бы тоже не справилась, я бы вообще ни с чем не справилась, если бы не понимание: кроме меня некому. У каждого свой крест, а у меня их два – свой и чужой, волоку волоком, где надорвусь, там и придет мне конец.

Четыре монеты за булочку, больше не дают, за вычетом расходов на муку, сахар, миндаль и пряности остается две, пара самых дешевых туфель стоит пятьсот пятьдесят, вот и считай, сколько надо булочек продать, чтобы детские ботинки купить.

– Назарос!

Резко оборачивается, сердце мое переполняется нежностью – до того худой и нескладный, что кажется – сейчас переломится пополам. Уши большие, без слез не взглянешь. Глаза материнские и лоб высокий, если бы не лопухи-уши, вылитая ее копия. Вытянулся за лето на целую голову и дальше будет расти, в отца своего долговязого, в скотину немытую.

Дергает меня за руку:

– Да, Мамида?

– В смысле?

– В смысле?!

– Ты пошутить решил?

Обиженно сопит.

– Ты же сама меня позвала!

– Я?

– Ну да. Крикнула «Назарос».

– А я уже забыла. Звала тебя зачем, не знаешь?

Хихикает.

Зулали не выпускает его плеча. Стоит, неловко изогнувшись, ждет. Если надо будет, час так простоит. Или день. Как только выходим за калитку, она кладет руку ему на плечо и убирает только на базаре или когда по нужде в кусты отойдет. Пока справляется со своими делами, мычит, не переставая: «А-а-ос, А-а-ос».

Знать бы, за что Господь с ней так.

– Мамида?

– Не могу вспомнить, зачем я тебя звала, как вспомню – дам знать.

– Ладно. Можно я потолкаю тележку?

– Можно, я уже устала.

Кроме надобности следить за тем, чтобы тележка не скатывалась колесом в заросли, особой возни с ней нет. Ручки у нее удобные, бортики достаточно высокие, чтобы удержать от сильной тряски плетеные короба с выпечкой.

Дорога как раз пошла под откос, так что Назаросу несложно тележку толкать, да и мне идти не так напряжно, хотя на спуске ноги ноют даже сильней, чем на подъеме, ну и ладно, зато спину можно разогнуть и плечи размять, затекли до одеревенения. Зулали плетется по обочине, опираясь на плечо Назароса, он не раздражается, не скидывает ее руку, терпит. Маленький, потому и терпит. Что будет, когда подрастет? Станет прятаться или убегать из дому, а она, не понимая, что происходит, будет реветь и биться головой о стены? Как они проживут без меня? Покойный, отчаявшись, умыл руки, а мне что делать? Обо мне кто-нибудь подумал? Или я, может, каменная? Или оттого, что не родная им, сердце мое меньше болит? Эх-эх, дела мои горькие.

Забот столько, хоть ложись и помирай. Вон, забор прохудился, крышу латать, Назаросу ботинки нужно справить. Ботинки!

– Назарос, я вспомнила, о чем спросить хотела. Пятьсот пятьдесят сможешь разделить на четыре? Нет, зачем на четыре, на два раздели.

Тормозит тележкой, закатывает глаза, бесслышно шевелит губами.

– Двести семьдесят пять. А что?

– Прикидываю, сколько нужно булочек продать, чтобы на новые ботинки тебе накопить.

– Зачем новые, если есть старые?

– Затем, что старые тебе только на нос налезут. Смотри, какие лапы себе отрастил.

– Прямо как у тебя! – Улыбается во все лицо.

– До меня тебе еще далеко. Ладно, давай сюда тележку.

– Уже отдохнула?

– Да!

Идут впереди, он грызет травинку, она держит руку на его плече, волосы я ей заплела в косу и уложила на макушке – так не вспотеют шея и спина, она похожа на свою мать настолько, насколько один родной человек может быть похож на другого, у нее профиль матери, взгляд, улыбка, осанка и даже щиколотки, и только цвет волос отцовский, каштановый с медной рыжинкой, утром в этой рыжине переливается свет, вечером – сумрак, ночью ее можно угадать во всполохе дровяной печи: мигнет огонь – и ее волосы мигают в ответ. Я помню ее другой, а теперь она такая, когда молчит – словно святая, когда говорит – хочется заткнуть уши и кричать, лишь бы не слышать этого беспомощного и неопрятного лопотания.

Покойный часто усаживал ее рядом, брал за руку, негромко напевал колыбельную, она клала голову ему на плечо, смотрела перед собой напряженно, не мигая, стороннему человеку могло показаться, что она расстроена, на самом деле это не так, чем спокойней ее взгляд, тем тревожней у нее на душе. Иногда заведет покойный колыбельную, слева она сидит, справа внук, покойный поет, внук подпевает, она или молчит, или невнятно мычит – тоже подпевает, а я понаблюдаю за ними, а потом резко встану, уйду к себе в комнату и реву, зарывшись лицом в подушку. А перед глазами другая картинка, где они сидят ровно так же – посередине покойный, по бокам его жена и маленькая Зулали, он поет, они подпевают, а я любуюсь ими и думаю, что если и бывает на свете счастье, то выглядит оно именно так. Картинка (покойный бы поправил – не картинка, а мизансцена, но мне так проще говорить) почти не изменилась, он поет, они сидят по бокам, только вместо жены внук, персонажи, считай, те же, но история теперь другая. У жизни вообще сюжетов раз-два и обчелся, по большому счету, каждому из нас выпадают одни и те же испытания, и истории у всех одинаковые. Истории одинаковые, а смысл у каждой свой.

Помню, как пришла к ним после похорон, еще молодая, но уже вдова, встала возле калитки, войти робею, а идти мне больше некуда – дом отошел мужниной родне, мне, бездетной, ничего не полагается, да и не вернусь я туда, где меня не ждут. Жена покойного отворила дверь, придерживая рукой тяжелый живот, ступала аккуратно, охая на каждом шагу – к концу беременности сильно отекали и болели ступни. Мне некуда идти, призналась я. Останешься у нас, ответила она, нам как раз помощница по хозяйству нужна, одна я не справляюсь. Через месяц она родила чудо-девочку с таким гладеньким беленьким личиком и прозрачными глазками, что сомнений, какое имя ей выбрать, не возникало. Назвали Зулали. Пречистая.

Не знаю, что меня заставило остановиться именно возле их дома, хотелось бы верить, что подсказало сердце, но утверждать не стану, потому что плохо помню, а кривить душой не хочу. Шла, не разбирая дороги, очнулась у их калитки, встала и стою, потому что ноги не несут. А тут она выглянула – бледная, с осунувшимся лицом, с темными кругами под глазами… Иногда спрашиваю себя, знай я все наперед, согласилась бы войти в их дом или бежала бы сломя голову. Спрашиваю – и не могу ответить. Привыкшая к страданиям, я не была готова к тому, что посторонние люди меня примут как родную, а они не только приняли, но и полюбили – сначала она, потом он. Любить ей было несложно, она была из той породы

людей, которые рождаются для того, чтобы согревать и утешать. А вот покойный отнесся к моему появлению настороженно, в отличие от жены, он редко кому доверял. Приглядывался ко мне долго – год или, может быть, два, а потом принял, как мне показалось – с явственным облегчением, словно все это время вел с собой внутренний диалог и наконец-то его закончил.

– А-и-а! – Зулали оборачивается, не убавляя шага и не снимая руки с плеча Назароса.

Тот предусмотрительно останавливается, чтобы она не запуталась в собственных шагах. Золотой мой мальчик.

– А-и-а!

– Да, Зулали?

– А-а-р.

– Скоро будет базар, да.

К тому времени, когда добираемся до базара, утренние машины уже проехали, в этом, конечно, мало хорошего, ну да ладно, самый прилив людей случается ближе к полудню, когда солнце шпарит, как проклятое, а выпитая вода моментально испаряется из тебя, оставляя во рту привкус горечи. Базар – это громко сказано: десяток дощатых, изъеденных жучком прилавков под металлическим каркасом, хочешь клочка тени – накидывай на торчащие ржавые колья плед или циновку, а нет – стой так, к вечеру превратишься в головешку. Когда-то здесь хотели проложить большую дорогу, но потом передумали, а те сооружения, что принялись было возводить, понадеявшись на большой приток будущих посетителей, бросили на произвол судьбы. Люди выколупали и растащили все, что можно было унести, а потом кто-то додумался соорудить под арматурными кольями базарные прилавки. Автобусы первое время проезжали мимо, а потом стали останавливаться.

Движение машин по краю ущелья небольшое, но к концу недели достаточно бойкое. Потому мы выбираемся сюда в пятницу-субботу. Полуднем тут особенно людно. Уставшие с дороги пассажиры вылезают из провонявших выхлопным газом и людским потом автобусов и разминают ноги, прогуливаясь между прилавков. Самым большим спросом пользуются питье и еда, на всякую бытовую мелочь редко кто зарится, но в целом торговля хоть шатковалко, но идет. И на том спасибо.

Сегодня мы припозднились, свободных мест за прилавками не осталось, толкаю тележку, здороваясь со знакомыми продавцами, ассортимент убогий – дешевая привозная косметика, наборы полотенец, всякая недорогая посуда, домашние продукты. Мимо сапожника иду, не поворачивая головы, он тоже делает вид, что не видит меня, увлеченно перебирает выставленный на продажу товар. Знать бы, куда он мою ношеную обувь подевал, небось тоже продал, с него, скряги, станется. Ноги у меня такие, что без слез не взглянешь, когда бог раздавал женщинам изящество, я по своему обыкновению отвлеклась на какую-то ерунду, потому получила в пользование огромное бесформенное тело и косолапые ступни. Обувь моей тяжести не выдерживает, быстро разваливается. Если раньше выручал сапожник, то теперь приходится ее в городе раздобывать, договариваюсь с водителями автобусов, они привозят. В последний раз привезли добротные мужские туфли, правда, немного промахнулись с размером, пришлось разнашивать, но материал оказался податливым, быстро растянулся. Вроде недавно ношу, а каблуки уже сбиты и носы словно собаки жевали. Сколько еще продержатся – не знаю. Справлю Назаросу ботинки, залатаю крышу – и снова надо будет деньги на обувь копить.

Поскольку свободных мест за прилавками не осталось, мы идем в самый конец базара, туда, где раскинул ветви чудом не спиленный могучий каштан. Обычно каштаны растут на влажной почве и не любят палящей жары, но этому все нипочем, кора у него толщиной в два пальца, ствол в три человеческих обхвата, ветви словно столбы, листья, правда, немного пожухли от жары, но это днем, с ночной прохладой они обратно оживают. Под каштаном лучше, чем за прилавком, потому что тень и благодать и до родника рукой подать, но это

самый отшиб базара, и редко кто из пассажиров сюда выбирается – из опасения пропустить свой рейс. Я оставляю Назароса с Зулали под деревом, а сама ухожу прямо к автобусам, распродам партию булочек – возвращаюсь за следующей, а Назарос с тележки торгует, мальчик он смышленый, так что я не беспокоюсь, что его обманут.

Время до наплыва посетителей терпит, но мы торопимся – освобождаем тележку, опрокидываем ее набок и накрываем куском клеенки. Получается вполне сносный прилавок. Теперь дело за малым – разложить короба таким образом, чтобы Назарос мог без особых усилий доставать булочки, постелить на земле плед и усадить на него Зулали, предварительно вручив ей стопку бумаги – она умеет сворачивать из нее кульки. Если все сделать быстро, останется достаточно времени, чтобы перевести дух и дать ноющим от долгой дороги ногам отдохнуть.

Пока вожусь с коробами, Назарос собирается за водой. Уходит, поддевая жестяной бидончик коленом, от чего тот глухо брякает.

– Пожалей свои колени, – привычно бухчу я.

– Мне не больно, – привычно отмахивается он.

Зулали смотрит ему вслед, но не двигается – теребит в руках бумагу и ждет, когда я постелю плед.

– Сейчас, Зулали, сейчас, – приговариваю я, выбирая такое место под деревом, где тень продержится дольше. Расстилаю плед и показываю ей рукой – садись. Она разувается, подхватывает юбку, усаживается, подобрав под себя ноги. И сразу же принимается сворачивать кульки. Работает медленно, но старательно, высунув от усердия кончик языка. Ресницы неподвижные, в волосах искрится солнце, две морщинки на лбу – двое детей: сколько морщин на лбу, столько детей, такая примета. У меня морщин видимо-невидимо, а детей Бог так и не дал, видно, знал наперед, что рано овдовею. А может, не посчитал нужным. Раньше я роптала, теперь смирилась. Смысл роптать, когда ничего уже не изменишь.

Любуюсь, как бережно сворачивает кульки Зулали. Тонкие пальцы, едва прикасаясь, скользят по бумаге. Лицо у нее как у ангела, руки словно крылья, пальцы словно перья. Спохватываюсь, одергиваю себя – какая же ерунда лезет тебе в голову, Мамида. Руки-крылья, пальцы-перья. Эх, Мамида, эх. Зулали поднимает голову, смотрит на меня сосредоточенным взглядом. Иногда мне кажется, что она понимает больше, чем может выразить, но потом я говорю себе – не придумывай того, чего нет, Мамида.

Скидываю туфли, несколько секунд стою босыми ступнями на горячей земле. Медленно поднимаю вдоль тела руки, смыкаю над головой. Медленно опускаю. Дышать стараюсь глубоко, размеренно, но не очень получается – в ушах шумит, затылок ломит от тягучей боли. Укладываюсь рядом с Зулали, прикрываю глаза. Если немного поспать, отдых вернет мне силы. Дождусь Назароса и подремлю чуток.

Земля дышит жаром, в ветвях каштана поет одинокая птица – фьють-фрюють, за дальним прилавком перекликаются продавцы, если напрячь слух, можно различить обрывки разговора, передохну, пойду узнаю, какие новости у Дариджан, сын у нее, единственный долгожданный ребенок, тяжело болен, помочь ничем не могут, бедный, бедный мальчик, бедная Дариджан, бедный ее муж.

Просыпаюсь от крика, спросонья не могу разобрать, что произошло, крик повторяется – отчетливей, громче, кто-то с топотом пробегает мимо, бессознательно отмечаю тонкую костлявую щиколотку и затрепанный ремешок сандалии – долго не продержится, оборвется, сажусь, ощущая свинцовую тяжесть в голове, Зулали почему-то нет рядом, только стопка бумаг разбросана по пледу, пытаюсь подняться, подкашиваются ноги, а-а-а-а, захлебывается кто-то вдали, голос знакомый, но не распознать, мимо пробегают люди, один из них подхватывает меня под мышки, помогает подняться, что случилось, спрашиваю я до того, как

понимаю, что это сапожник, что случилось, с усилием повторяю я, язык распух и еле ворочается во рту, царапая наждачной поверхностью неподатливое нёбо, ничего непоправимого, отвечает скороговоркой сапожник, Назарос упал у родника, кажется, поранил плечо, а-а-а, взвываю я, а-а-а! Замолчи, он зажимает мне ладонью рот, рука его пахнет клеем и химической краской, замолчи, Мамида, напугаешь ребенка еще больше. Я умолкаю.

Бегу к роднику, раскаленная добела земля жжет босые ступни, но я не чувствую боли, сердце клокочет в горле, не давая дышать, в ушах стоит протяжный, мерзкий звон, как бы его унять. У родника толпятся люди, с перепугу мне кажется, что их очень много, потом соображаю, что это всего лишь продавцы, от толпы отделяется муж Дариджан с Назаросом на руках, мальчик мой уже не кричит, а хрипло стонет, прижимая правой рукой к груди левую, голова запрокинута, лицо мертвенно-бледное, предплечье распухло и почернело.

– Неужели он сломал руку?! – Я беспомощно оборачиваюсь к сапожнику, но его и след простыл.

– Ты только не волнуйся, Мамида, – словно расслышав мои слова, говорит муж Дариджан.

Нужно пойти им навстречу, но я не могу и шагу ступить, стою, будто пригвожденная ступнями к горячей земле. Слезы не дают разглядеть Назароса, я протираю лицо ладонями раз, еще раз.

– Мальчик мой, – причитаю, – мальчик мой, мой мальчик!

– Мамида, – плачет он.

Кусаю пальцы, чтобы не разрыдаться в голос, сердце разрывается, Назарос скулит, словно вынутый из капкана зверек, глаза потемнели от боли, вместо золотистой радужной оболочки два черных провала, губы белее снега, на висках выступил ледяными капельками пот.

– Мамида, дай пройти, – просит муж Дариджан, я, с трудом переступая своими одеревенелыми ступнями, делаю шаг в сторону, пропуская его, а потом, спохватившись, семеню следом, но так и не решаюсь прикоснуться к Назаросу.

Больно так, что хочется немедленно, прямо сейчас, раствориться-исчезнуть. Если бы можно было умереть, я так и сделала бы, о, это непреложное чувство свободы, когда сердце не знает больше тревоги, и рассеялось все, что мучило и не давало дышать… Но я обещала моему мальчику, что буду жить, пришлось даже поклясться на его нательном крестике, мои-то четки, на которых я раньше клялась, остались в комнате покойного. Обычно я от любого шороха просыпаюсь, а той ночью ничего не слышала: как он зашел ко мне, как крался по скрипучему полу, как шарил по стене рукой, осторожно обходя распятие и рисунок Назароса, чтобы снять четки с гвоздя… Они потом свисали с его запястья, видно, он намотал их на руку, а серебряный крестик зажал в кулаке, вот он и сломался. После похорон я пролежала три дня в его постели, надеялась, что он мне приснится и объяснит, зачем такое с собой сотворил. На четвертый день заложила форточку дощечкой, чтобы она не захлопнулась, и ушла, а четки оставила на комоде, на случай, если душа покойного залетит через распахнутое окно в комнату и, зацепившись за сломанный крестик, побудет там какое-то время. Может, я почую ее присутствие, может, успею прибежать и хотя бы спросить, как мне быть дальше. Но она так и не прилетела.

На обочине гудит мотором пыльный автомобиль, водитель, сдвинув на затылок соломенную шляпу, стоит у распахнутой дверцы, курит, глубоко затягиваясь самокруткой, рядом переминается сапожник, так вот куда он подевался, машину ловил, я протискиваюсь в салон первой, муж Дариджан осторожно укладывает на сиденье Назароса, сам садится вперед, кто-то просовывает в окно мои туфли – большие, бесформенные, истоптанные, я надеваю их, не глядя, водитель трогает с места и сразу же попадает колесом в рытвину, Назарос глухо

стонет, и я тотчас вспоминаю о Зулали, господи, как я могла о ней забыть, остановите, кричу я, машина резко притормаживает, Зулали, зову я в окно, Зулали!!!

– Не волнуйся, Мамида, мы о ней позаботимся, – сапожник, словно успокаивая меня, дотрагивается ладонью до дверцы. Рука оставляет на пыльной поверхности невнятный, скомканный след. Машина снова трогается с места.

– С весны не разговариваю с ним, – зачем-то объявляю водителю, откидываясь на спинку сиденья. Тот неопределенно цыкает языком, потом принимается напевать под нос незатейливую песенку, что-то про речку, весело бегущую среди камней, затылок у него неподвижен, уши плотно прижаты к черепу, левая мочка толще правой. Я незаметно елозю по сиденью, пытаясь устроиться удобней, пружины там и сям продрали обивку, и лезущий наружу наполнитель колет аж через одежду.

– Ехать нам от силы полчаса, – наконец вспоминает обо мне водитель.

Перекладываю голову Назароса себе на колени, глажу его по волосам. Он цепляет здоровой рукой меня за палец, приговаривает сквозь слезы: Мамида, Мамида.

– Потерпи немного, скоро мы в больницу приедем, – плачу я. – Потерпи.

Машина трясется и чадит, в распахнутое окно врывается раскаленный ветер, обдувает лицо жаром.

– Мамида, – говорит муж Дариджан – я подбираюсь, потому что знаю, что он собирается мне сказать, – Мамида, – повторяет он, не оборачиваясь, – все ущелье думает ровно так, как сапожник. Просто ему одному хватило смелости сказать тебе это в лицо.

Возвращаемся поздно ночью. Оказалось, нам очень повезло, упади Назарос чуть иначе, был бы перелом. А так он отделался вывихом. Плечо ему вправили, руку крепко перевязали, дали с собой лекарств. Сначала хотели оставить на ночь, но он расплакался, попросился домой. Успокоился сразу же, как только согласились его отпустить. По пути назад несколько раз жаловался на жару и на то, что плечо под повязкой чешется, про боль молчал.

Муж Дариджан оплатил все расходы. Я заикнулась было, что верну деньги, как только накоплю, но он только махнул рукой – Мамида, не начинай. О больном сыне я расспрашивать не стала, зачем человеку душу травить. Хорошие новости он сам расскажет, а плохие как брошенный в воду камень – только распускают вокруг себя волны, усиливая горе. Плохие вести тревожить нельзя.

Встретила нас соседка, предупредила, что Зулали дома у сапожника.

– Пришлось напоить мятной наливкой, иначе не успокаивалась, все плакала и звала вас.

– Может, сходить за ней сейчас?

– Зачем? Уснула уже.

– Ладно.

Постелила себе в комнате Назароса, прямо на полу возле его кровати. Нужно проследить, чтобы он лежал на спине и не ворочался во сне. Врач сказал, чем меньше беспокоить больное плечо, тем быстрее оно заживет.

К ночи жара немного спала, с ущелья подул прохладный ветер, зашумел в кронах деревьев, затянул небо облаками. Звезд уже не видно, запахло далеким ливнем, надо бы сходить, откинуть крышки дождевых бочек, но я лежу на циновке с открытыми глазами, слежу за движением теней на стене.

Когда случилась беда, Зулали было почти столько лет, сколько сейчас Назаросу. Уехали мы с покойным на сенокос, обычно он меня с собой не брал, но в тот день попросил подсобить – время поджимало, солнце немилосердно палило траву, нужно было успеть скосить ее до того, как она вся выгорит. Жена покойного накормила детей обедом, уложила спать и сама прикорнула. Так и не удалось узнать, что стало причиной пожара – может, она забыла

загасить свечу, и та, опрокинувшись, затлела (хотя кто зажигает свечи летним полднем), или, может, Зулали, которая никогда не засыпала в светлое время суток, заигралась со спичками, но к тому времени, когда подоспели соседи, спальня выгорела почти дотла. Огонь, с чудовищной скоростью уничтоживший все вокруг, почему-то не пошел гулять дальше по дому, а, споткнувшись о порог комнаты, тлел среди головешек и обгоревших тел – ее и двухлетних мальчиков-близнецов. Покойного я тогда еле выходила, а вот вернуть чудом спасшейся Зулали разум не смогла. От пережитого ужаса она онемела и почти ослепла, зрение, правда, понемногу восстановилось, но речь так и осталась невнятной. Первое время она никого не узнавала, пряталась ото всех: то под кроватью, то за шкафом, а то в погребе закроется – забьется в дальний угол и скулит по-щенячьи или же под тахтой лежит, зарывшись личиком в ладони, вздрагивает всем телом, словно от рыданий, но не плачет. Понемногу она признала нас: сначала отца, потом меня, я надеялась, что и разум к ней вернется, но этому не суждено было случиться.

Покойный замкнулся в себе, стал нелюдим и молчалив, страдал бессонницей, ел мало, отощал до костей, ходил с трудом, держась за стену и подволакивая ноги, потом вовсе слег, ступни его скукожились и загнулись внутрь, словно у младенца, о торчащие локти можно было пораниться – до того они стали остры, глаза его гноились, десны кровоточили, а изо рта несло такой вонью, словно он разлагался изнутри. Я натирала его тело перцовой мазью, разгоняя кровь по сосудам, укрывала с ног до головы в тяжелое одеяло из овечьей шерсти, поила куриным бульоном и целебным отваром, но проку было мало, его то рвало, то проносило, тело сводила судорога, когда они случались, он цеплялся почерневшими руками за края кровати, чтобы не рухнуть на пол, я наваливалась на него всем телом, лишь бы удержать, он стонал и скрипел зубами, но не роптал, за все то время я не услышала от него ни одного слова упрека или жалобы. Через какое-то время он совсем отказался от еды, лежал без сна, накрытый одеялом, под прозрачными веками угадывалась темная радужка глаз, губы ссохлись и ввалились, кожа, когда-то плотно обтягивавшая скулы, висела складками вокруг лица, словно на череп накинули мятый лоскут ткани.

Я совсем отчаялась и решила не мучить его, все одно не выживет, так пусть хоть умирает в спокойствии, но он, неожиданно для всех, потихоньку стал выправляться и однажды вынырнул из той пучины, в которую свергся. Возвращение к жизни давалось ему с неимоверным трудом: он заново учился жевать, сидеть, переворачиваться с боку на бок, ходить, говорить, слушать и сосредотачиваться. Но и это ему в конце концов удалось.

Выгоревшую дотла спальню он восстановил, заказав ровно такую мебель, что была до пожара, и даже ткань для штор и обивки выбрал один в один – белые георгины на зеленом. Невзирая на уговоры, сразу после ремонта поселился там и старался как можно реже покидать комнату, так и жил в этой обители скорби, окруженный любимыми призраками, вдыхая запах гари, который не выветривался годами, но потом, слава богу, понемногу исчез. Пожар уничтожил все личные вещи его жены, и единственным напоминанием о ней стал портрет Анны Бретонской, купленный мной на барахолке за три гроша, натолкнулась я на него случайно и оторопела от того, как они похожи – тот же высокий лоб, тонкий нос и кроткое выражение лица, принесла этот портрет домой и оставила в комнате покойного, захочет – сохранит, а нет – выкинет. Он вклеил его в рамку и поставил на комод таким образом, чтобы на него не падал свет из окна – видно, побоялся, что тот выгорит. Так и простоял этот портрет на комоде почти полвека и после нас, наверное, столько же простоит.

К дочери покойный относился холодно. Первое время не подпускал к себе, обвиняя в случившемся, а спустя месяцы, справившись с собой, все же смог ее не сразу, но принять. Мое сердце разрывалось от боли каждый раз, когда я видела, как она, к тому времени уже вспомнившая отца, тянется к нему, единственному родному человеку, как подносит ему попить, как сидит в изголовье кровати и гладит его по иссохшему лицу, ласково приговари-

вая: а-а, а-а. Когда она прикасалась к нему, он превращался в мраморное изваяние, лежал, крепко стиснув зубы, молчал. Мне хватило благоразумия не вмешиваться и не осуждать, но однажды, когда он уже выправился, я все-таки не сдержалась.

– Как ты мог с ней так поступить! Ведь ты даже не знал, виновата она или нет! – попрекнула я его.

– Если даже виновата, – пожал он плечами. – Если даже допустить, что причиной пожара была она. Разве это оправдывает меня?

Когда тебе столько лет, что сама уже не помнишь, раскаяния бессмысленны. Но о том разговоре я сожалею до сих пор.

Заботы по дому целиком легли на мои плечи, впрочем, я не жаловалась и со временем свыклась с тем, что теперь не только за помощницу, но и, считай, за хозяйку. Думала, что так мы и состаримся и уйдем в мир иной, сначала я, следом покойный. За Зулали мы были спокойны – договорились с соседом, что он позаботится о ней, тот сначала отнекивался, видно испугался ответственности, но потом все-таки согласился, да и как не согласиться, если за это тебе обещан большой дом и плодородный участок земли. Так мы и жили, наивно полагая, что предугадали все ходы судьбы, покойный и я постепенно старели, а Зулали выросла красивой девушкой, потом – цветущей женщиной, с виду, если не заговорит, вполне взрослый человек, а заговорит – так сразу и понятно, что беспомощное и безответное дитя. Ущелье у нас хоть и большое, но народу горстка, все знали и любили Зулали, потому мы со спокойной душой отпускали ее погулять, она то к одному в гости заглянет, то к другому, иногда по полдня могла пропадать, но мы за нее не волновались, потому что знали, что никто ее не обидит и голодной не оставит. Приводил ее домой чаще всего покойный, вел за руку, она шла шаг в шаг, смотрела сосредоточенно под ноги, словно боялась сбиться, – копия матери, только волосы отцовские. Если он останавливался, чтобы поздороваться и перекинуться словечком-другим со знакомым, она осторожно вытягивала ладонь из его руки, уходила на несколько шагов вперед и терпеливо ждала, теребя кончик косы. Когда отец, закончив с разговором, направлялся к ней, она протягивала сложенные узкой лодочкой пальцы, чтобы ему легче было их обхватить.

Если бы мне сказали, что когда-нибудь найдется человек, который воспользуется ее беспомощностью, я бы рассмеялась. Я бы скорее дала отрубить себе руку, чем поверила бы, что такой человек в нашем ущелье отыщется. Однако жизнь оказалась много горше, чем я могла себе представить. В тот день покойный не смог дозваться дочери, соседка, к которой она заглянула утром, сказала, что она играла с ее детьми до полудня, а потом ушла в сторону мельницы. Там ее и нашли, истерзанную, но живую, заваленную суконной ветошью, со связанными руками и вывернутой лодыжкой. Сына мельника, огромного бестолкового детину, застали дома, он даже не пытался бежать, сидел за столом, ел домашнюю лапшу, щедро заправляя ее чесночным соусом и жареным луком. Отпираться и каяться в содеянном он даже не думал, все бубнил, что, если бы ей не хотелось, она бы не пошла за ним, мужики повалили его на пол, стали избивать, мать завизжала, заплакали младшие дети, мельник схватил со стола нож и крикнул, что перережет глотку любому, кто попытается убить его сына. И тогда покойный сделал то, чего от него никто не ожидал, – он велел отпустить его, а потом попросил всех выйти и сам вышел следом, и даже дверь за собой прикрыл. Той же ночью семья мельника уехала из ущелья, а мы остались – оглушенные не только случившимся, но и непостижимым поведением покойного. Недоумение было столь велико, что мужики какое-то время обходили его стороной, но потом все-таки пришли за объяснением. А он выставил их за порог, даже не дав им рта раскрыть.

– Последнего разума лишился! – крикнул муж Дариджан, когда покойный бесцеремонно захлопнул перед его носом дверь.

Люди сторонились нас до той поры, пока не открылась беременность Зулали. Тут уже не до обид стало, сначала одна соседка зашла спросить, как у нас дела, за ней – другая, потом муж Дариджан пришел, предложил помощь, покойный покурил с ним на веранде, попрощавшись, пожал ему руку, так потихоньку и перемирились со всеми, и к тому времени, когда родился Назарос, все обиды были уже позабыты.

Рождение Назароса вернуло нас к жизни, словно живительным дождем по душе прошлось. Не то чтобы мы излечились от горя, но возрадовались и даже утешились. Однако беда имеет обыкновение возвращаться, и она вернулась спустя восемь лет, с необъяснимой смертью покойного.

К тому, как он поступил с собой, я отнеслась со смирением – слишком стара стала, чтобы осуждать. Но сапожника, бросившего обидные слова, будто покойный наложил на себя руки, не простив себе того, что не отомстил за дочь, а не отомстил он потому, что всю жизнь обвинял ее в смерти жены и сыновей, этих слов, ударивших меня наотмашь, я простить не смогла, хотя знала, что не он один так думает. Только языком трепать каждый горазд, а вот быть милосердным мало кому дано. Покойному тоже было не дано. Он был из тех, кому милосердие было посильной, но все же ношей. И справиться с ней он не смог.

Разбереженная воспоминаниями, засыпаю далеко за полночь, проводив сначала одну, потом вторую грозу, уже сквозь сон вспоминаю об оставленной на базаре тележке, пропал товар, думаю без сожаления, ну и бог с ним, пропал и пропал.

Просыпаюсь от громкого стука, удивляюсь, с какой радости стучат, когда у нас никогда не запирают дверей, выхожу из комнаты осторожно, чтобы не разбудить Назароса.

На пороге стоит сапожник, рядом – Зулали, жена сапожника красиво уложила ей волосы и дала с собой два яблока. Зулали тут же отдает их мне – А-и-а.

– Куда это поставить? – спрашивает сапожник, и я наконец замечаю тележку, груженную пустыми коробами. – Выпечку мы вчера продали, – проследив за моим взглядом, объясняет он, вынимает из кармана деньги и протягивает мне, а потом извлекает из-под коробов сумку с моей обувью и бутылку с уксусом. И в тот же миг мое старое сердце разлетается на сотни осколков, и, изрешетив душу, улетает на небо, давая выход боли, с которой я столько лет живу, и я принимаюсь рыдать так, что, если собрать мои слезы, можно будет затопить ими все это проклятое ущелье с его проклятыми жителями, на долю которых выпало столько страданий, что непонятно, как они до сих пор не сошли с ума.

– А уксус почему не выпил? – спустя тысячу лет, справившись, наконец, с рыданиями, спрашиваю я.

– Тебе оставил, – улыбается он.

3

у этого ущелья нет дна и края, оно тянется к самому горизонту и заканчивается там, где заканчиваются пространство и время, дальше нет ничего, только незаштопанная кромка неба и груды затухающих звезд, к старости они откатываются к краю мира и, медленно остывая, превращаются в промозглые глыбы, подует с той стороны ветер – принесет с собой вьюгу и снежную пыль, если не побоишься и перейдешь все пороги, – за последним будет мама, место, где она находится, кажется средоточием света, там он льется отовсюду: сверху, снизу, с боков, а мама стоит, объятая лучами, и укачивает две люльки, правой рукой серебристую, левой – золотистую, чш-ш-ш-ш, прикладывает она палец к губам, не шуми, Лаличка, братья спят, я подхожу на цыпочках, склоняюсь над люльками, любуюсь братьями, осторожно прикасаюсь к кружевным оборкам воздушных одеялец, Лаличка, улыбается мама, милая моя Лаличка, тебе пора, мамочка, прошу я, можно я потом еще приду, когда потухнет следующая звезда, я проведу к тебе дорогу, говорит мама и задвигает полог

руки-крылья, пальцы-перья, думает Мамида и тут же одергивает себя, потому что стесняется своих мыслей, я люблю слушать ее мысли, ведь они прозрачные, словно льдинки; у ветра столько имен, что все не запомнишь, если только всхлипом, вздохом, вскриком, думает Мамида, когда месит тесто, тесто для нее все, потому самые красивые свои мысли она думает, когда занимается им; если она рассказывает сказку об аждааках, они возникают у нее за спиной, все четверо – Арав, Аревелк, Юсис и Аревмут, Мамида об этом не знает, она просто рассказывает, положив руку мне на колено, и от этой руки столько тепла, что можно жить бесконечно; любовь – самое беспомощное из всех чувств, потому что не умеет за себя постоять, думает Мамида, перебирая фасоль, и я улыбаюсь, потому что согласна с ней, а она пугается моей улыбки и спрашивает: Зулали, у тебя ничего не болит? не болит, Мамида, у меня давно уже ничего не болит

Назарос пахнет всем, без чего я не могу представить своей жизни: молчаливым туманом, острым запахом хвои, шумом реки, пением сверчков, тенью под каштановым деревом, цыплячьим пухом, трескотней цикад, холодными сливками, чуть влажными от утренней влаги садовыми дорожками, молочным фундуком, кустиком просвирняка, ежевичным следом на ладони; пойдем чего покажу, сказал его отец, и я пошла, он засунул руку мне за пазуху, погладил мои груди, было совсем не больно, но мне стало страшно, и я укусила его за руку, он рассвирепел, толкнул меня, я упала, он меня ударил в бок, потом – в живот, и я притихла, но, когда он стал расстегивать штаны, я извернулась и ударила его между ног, он глухо застонал, упал на меня, я выбралась из-под него, пока он корчился от боли, но отползти не успела – он схватил меня за ступню и вывернул ее, я взвыла от боли, и он навалился сверху и запихнул свой кулак мне в рот, и вытащил тогда, когда сделал все, что хотел со мной сделать, а потом он стал озираться по сторонам, нашел обрывок веревки, связал мне руки и зачем-то накинул на меня рваную мешковину, под ней нечем было дышать, и было темнее ночи, но я не испугалась, потому что увидела твое лицо – нежное, красивое, с круглыми торчащими ушками, сквозь которые, как сквозь льдинки, просвечивает свет, я увидела тебя, все поняла и утешилась, ах, Назарос, Назарос, солнце мое и луна, умытое росой мое утро, дождь мой ливневый и долгожданный, мой Назарос

Иногда мне кажется, что в тот день душа моя отделилась от тела, но улететь не смогла, а осталась внутри умершей меня, такое, наверное, бывает, со мной уж точно все именно так; я просыпалась всякий раз, когда он приходил ко мне, смотрел не дыша, подтыкал одеяло, если было холодно, если жарко – приоткрывал створку окна, иногда он просто стоял рядом, но чаще плакал, и каждая его слеза падала камнем на мое сердце; мне хотелось ему рассказать, как опрокинулась за кровать забытая мамой свеча, как я полезла туда, чтобы ее достать, но не нашла, а догадаться, что свеча застряла между стеной и кроватью, не смогла; я о ней сразу же забыла, выползла обратно и решила уйти играть во двор, чтобы не будить братьев и маму, Лаличка, позвала шепотом она, я обернулась и запомнила ее такой – с распущенными волосами и сонными глазами; когда я прибежала, пламя было повсюду, я шагнула в него и мгновенно оказалась в огненном кольце, хотела позвать ее, но вместо зова из легких вырвался хрип, хотела заплакать, но слезы испарялись до того, как успевали набежать, в огне металась одинокая черная тень, мама, захрипела я, она не услышала, а почувствовала мое присутствие, одолела расстояние между нами в один прыжок – и толкнула меня в грудь с такой силой, что я вылетела через порог за секунду до того, как на нее обрушилась горящая балка

я много раз хотела ему об этом рассказать, но меня разорвало надвое, и та Зулали, которая осталась в этом мире, не умела этого делать, а другая Зулали блуждала там, где остано-

вилось время он прощал легко и никогда не помнил зла, он даже отца Назароса простил – мгновенно и безусловно, потому что милосердие его было безграничным, единственное, с чем он не смог смириться, это с отчаянием, и он ушел, когда стало невмоготу жить, одинокий несчастный старик, обломок моей ополовиненной души, он плакал у моей постели, и каждая слеза падала камнем на мое сердце

однажды пробьет мой час, и я пойду, не оборачиваясь и не страшась, сквозь ледяной морок, тьму и холод – к затухающим звездам на краю ущелья, и узкая тропа выведет меня к волшебному месту, вход в которое охраняют небесные аждааки; они проведут меня туда, где облака белее белого, и земля пахнет, как после дождя, там дно рек бархатное и ласковое, а лиловые лалазары оставляют на ладонях отпечатки своих нежных лепестков, взмахнешь руками – и эти лепестки, превратившись в большекрылых бабочек, отлетают к небесам, там ветра ласковы и покорны, словно домашние псы, сидят, прижавшись ушастыми головами к твоим ногам, готовые подняться по первому зову, там туман показывает картинки – только счастливые, там нет предчувствия беды и нет ощущения вины, и там ждут меня те, ради встречи с которыми и стоило весь этот долгий путь идти.

Салон красоты «Пери»

Часы над вокзальной площадью показывали без четверти четыре. На стоянке рейсовых автобусов, вплотную придвинувшись левой стороной к невысокому забору, расположился старенький, условно оранжевый «пазик». Условности его окрасу придавали разноцветные масляные заплатки, которыми пестрел изрядно помятый кузов: спереди большое серое пятно, сбоку синее, одна створка задних дверей красная, другая – ярко-зеленая. На лобовом стекле, поверх таблички «Ванаван – Салори», красовалась картонка с криворуко выведенной надписью: «Осторожно, дети». Некоторое время назад школу в деревне Салори закрыли, а на рейсовый автобус возложили обязанность доставлять восемнадцать школьников в городок Ванаван. Ранним утром пазик забирал стайку детей у крайнего деревенского дома, а ближе к трем, когда заканчивались занятия в старших классах, дожидался их у школы. Перед тем как покинуть Ванаван, он в обязательном порядке заезжал на автостанцию и аккуратно припарковывался под ржавой табличкой, на которой, если очень постараться, можно было разглядеть график пригородных рейсов. Младшие дети, вытянув шеи, с неизменным любопытством наблюдали в окна пеструю жизнь Ванавана: праздных или вовсе наоборот – суетливо куда-то спешащих прохожих, здание кинотеатра с выглядывающим из-за давно заброшенной стройки узким краем афиши – никогда не прочитать, что сегодня идет, торговый центр, нелепо возвышающийся стеклянным куполом над каменными домами, двор музыкальной школы с обгрызенной цветочной клумбой. Изнывающие от скуки подростки

тем временем переругивались с шофером Анесом, требуя выпустить их на прогулку хотя бы по автовокзалу.

– Приедете сюда со своими матерями, тогда и гуляйте, – отказывал им Анес – шестидесятилетний, хромой на обе ноги конопатый мужик, которого за глаза все называли Топал[3].

– На пять минут! До автомата с газировкой и обратно! – канючили подростки.

– А это видели? – Анес, не оборачиваясь, выставлял кривоватый мизинец[4]. – Хрен вам, а не газировка, ясно?

– Осел ты непонятливый, Топал, – прячась за спины друзей, выкрикивал кто-то из смельчаков.

– Агарон, если ты меня не видишь, это не означает, что я тоже тебя не вижу! Или ты думаешь, раз научился рукой до причинного места дотягиваться, значит, мужиком стал?

Автобус взрывался беспардонным детским смехом, громче всех гоготал Агарон. Анес добродушно хмыкал, с удовольствием отметив его самоиронию – другой бы обиделся, а этому хоть бы хны.

Прождав напрасно до четырех часов (в будние дни пассажиры были большой редкостью), автобус, кряхтя и натужно кашляя, заводил мотор и покидал автовокзал. Дети давно уже привыкли ездить в одиночестве, а потому, когда однажды, теплым октябрьским днем, буквально за три минуты до отправки к пазику подошла высокая черноволосая женщина, удивленно переглянулись и прильнули к стеклам. Женщина несла странной формы громоздкий кофр – скорее всего легкий, но, судя по тому, как часто она перекладывала его из руки в руку, очень для переноски неудобный. Следом за ней, отставая на несколько шагов, тащил два больших чемодана багровый от натуги – того и гляди, треснет лицом – кургузый мужичок. Обнаружив двери автобуса закрытыми, он остановился, но чемоданы из рук не выпустил. Женщина же, не растерявшись, привстала на цыпочки и легонько постучала в лобовое стекло.

– Анес, открывай, там пассажиры! – зашумели дети.

Анес вытянул шею, разглядывая женщину, кхекнул, узнавая ее, распахнул дверцы и, в один мах перекинув через широкую перегородку, отделяющую водительское место от салона, свои покалеченные ноги, с удивительной резвостью заковылял по автобусным ступенькам вниз.

– Ишь, акробат! – фыркнул Агарон.

Дети захихикали, но сразу же притихли, наблюдая, как бережно затаскивает в автобус тяжеленные чемоданы Анес. Женщина меж тем порылась в кошельке, достала деньги и протянула кургузому мужичку. Тот замотал головой и отступил на шаг. Она настойчивей протянула купюры. Мужичок опять побагровел, теперь уже от смущения, нелепо шаркнул ножкой, легонько пожал ей кончики пальцев (к деньгам старался не прикасаться) и поспешно распрощался. Женщина пожала плечами и убрала деньги в кошелек. Анес бесцеремонно спихнул с переднего сиденья двух мальчиков, велев им пересесть назад, поставил чемоданы и кофр так, чтобы при движении они не опрокидывались, подал женщине руку, помогая ей взобраться в салон, зачем-то похлопал себя по засаленным карманам пиджака – левый карман отозвался сухим шуршанием спичечного коробка – и только потом, прочистив горло, кивнул:

– Здравствуй, Назели.

– Здравствуй, Атанес, – ответила женщина.

– Атанес, – загоготал кто-то сзади. Женщина обернулась – смех оборвался. «Какая красивая!» – зашептала какая-то из девочек.

---

[3] Топал – хромой (*арм., простореч.*).

[4] Армянский жест, имеющий тот же смысл, что и кукиш.

Анес отодвинул кепку на затылок, потоптался, по-утиному переступая кривыми ногами.

– Насовсем вернулась или там видно будет?

Она села, пружины сиденья скрипнули под ней и затихли.

– Как получится. Дом стоит?

– Стоит, что с ним будет. Отсырел небось, но с виду держится.

– Это хорошо.

Часы на вокзальном здании показывали четверть пятого.

– Пора ехать, – очнулся кто-то из детей.

Анес неуклюже полез через перегородку на водительское место. Перед тем как завести мотор, вытянул шею, глянул в зеркало заднего вида, ловя взгляд женщины.

– А Автандил где?

– Умер, – коротко ответила она.

Анес растерялся, но виду постарался не подать. Повернул ключ, мотор несколько раз протяжно кашлянул, наконец, завелся. Пазик проехал из конца в конец главную улицу Ванавана и вырулил к серпантинной дороге, уходящей далеко вверх – к деревне.

Всю дорогу Назели просидела строго выпрямившись и сложив на коленях руки. Дети не сводили с нее глаз – она была красива той воздушной, нездешней красотой, которой славились горожанки, – хрупкая и изящная, с ювелирно вылепленным профилем – высокий чистый лоб, прямой нос, выразительные губы. Лицо бледное, глаза большие и такие темные, что не разглядеть зрачка. Одета она была в простого кроя платье, на ногах – узкие лодочки на высоком каблуке. Волосы были собраны в тяжелый небрежный узел, традиционный для жительниц Салори, но если других женщин такая прическа простила, то красоту Назели она только подчеркивала.

Анес попытался завести разговор, чтобы прервать повисшее в салоне молчание. Посетовал, что в деревне пустует половина домов – в поисках работы мужчины уехали на север, в Россию. Те из них, кто не смог забрать с собой семью, присылают ежемесячно деньги, на которые худо-бедно можно просуществовать. Но разве это жизнь? Раньше ведь как хорошо было: и школа своя, и нет необходимости врача заполошно искать – есть фельдшер, который всегда окажет первую помощь. И лес не надо на дрова изводить, потому что вентиль открутил – вот тебе и отопление, и газ в плите. А сейчас… Эх! Что скажешь, Назели?

Назели пожала плечами, вздохнула и опустила голову.

– И зачем я тебе надоедаю, когда сама все знаешь! – не дождавшись ответа, сконфуженно закруглил разговор Анес.

В автобусе снова воцарилась тишина. Правда, мальчики через какое-то время зашебаршились и загалдели, а вот девочки сидели притихшие, лишь изредка многозначительно переглядывались. Будучи существами интуитивными, они безошибочно угадали непростую тайну, скрывающуюся за напускным безразличием незнакомки, но заговорить с ней так и не решились. Лишь самая младшая – восьмилетняя Анаит – кивнув на кофр, робко поинтересовалась:

– Что там внутри?

– Парикмахерские принадлежности, – ответила Назели.

– Вы парикмахер?

– Можно и так назвать.

Анаит не нашлась что еще спросить, обернулась к другим девочкам, взглядом приглашая их к разговору. Но те растерялись и отвели глаза. Остальную часть дороги проехали в молчании.

На околице собралась небольшая толпа женщин – обеспокоенные опозданием автобуса, они вышли его встречать. Когда Анес, припарковавшись, распахнул двери, самая бойкая из них – Еноканц Валя – полезла в салон.

– Что вы сегодня так дол… – выпалила она и резко оборвала себя, заметив Назели. Повисла неловкая пауза.

– Здравствуй, Валя, – нарушила тишину Назели.

Валя сделала вид, что не расслышала ее, вытянула шею, выискивая среди детей свою дочь.

– Марина, быстро домой!

Марина оказалась полноватой смуглой девочкой с длинной, по пояс, пушистой косой. Проходя мимо Назели, она, стесняясь грубости матери, подчеркнуто вежливо попрощалась с ней. Валя заметила это, скривилась, но смолчала. Остальные женщины отреагировали на Назели тоже холодно – кто проигнорировал ее, а кто, сухо кивнув, поспешил отвернуться. Одна из них бросила намеренно громко: «Явилась, не запылилась», другая зашикала на нее. Назели притворилась, что не расслышала, хотя было ясно, что это не так.

Анес дождался, когда дети покинут автобус, поднял чемоданы и поволок их, тяжело переваливаясь с одной больной ноги на другую.

– Атанес, ну что ты! Я сама! – попыталась остановить его Назели.

– Неси свой парикмахерский сундук и не называй меня больше Атанесом! – прокряхтел Анес.

Он толкнул чемоданом калитку, та со скрипом распахнулась. Дом глянул на них грязными подслеповатыми окнами. Время его не пощадило: местами просела крыша, один из водосточных желобов обрывался и криво торчал высоко над землей – обвалилась часть трубы. Двор практически полностью порос травой, стволы и ветви садовых деревьев обвивали побеги вьюна, давно не сушенные дождевые бочки дали течь, прогнили и осыпались трухой, часть курятника, обрушившись, лежала на боку. Справа от калитки стоял ржавый железный навес, задняя стена которого была густо исписана и изрисована мелом и углем.

– Дети тут непогоду пережидают, – виновато пояснил Анес. – Иногда задержусь на пять-десять минут, они и собираются под навесом. Не мокнуть же под дождем.

Он затащил чемоданы на веранду, хотел занести в дом, но Назели попросила оставить их у порога – пусть пока здесь постоят. Она поставила на чемодан кофр, а сверху водрузила сумку. Анес наблюдал за ее манипуляциями с ироничной улыбкой. Поймав на себе ее взгляд, смешался, сдернул с головы кепку, немилосердно скомкал и засунул в карман. Вытащил пачку сигарет, протянул Назели.

– Будешь?

Она кивнула, взяла сигарету.

– Спасибо. Извини, что не приглашаю в дом, сам понимаешь.

– Да какое там!

Закурили. Анес, явно нервничая, поспешно затянулся, закашлялся, отдышался. Утер ладонью выступившие слезы.

– Назели, ты это. Не обращай на женщин внимания. Дуры, они и есть дуры.

– Мне нет до них дела, – оборвала его Назели. И не покривила душой. Сейчас ее более всего заботил дом и предстоящая с ним работа. Она загасила недокуренную сигарету о каменную балку веранды, бросила окурок в угол – потом подметет-уберет. Вытащила из сумки деньги, намереваясь расплатиться с Анесом, но, остановленная его взглядом, не решилась их отдать.

– Больше не обижай меня так! – коротко бросил Анес и, не попрощавшись, принялся боком спускаться по ступенькам каменной лестницы.

Первое время было не просто тяжело, а невыносимо. Смысл жизни свелся к борьбе с пылью, сыростью и прелью. Дом находился в ужасном состоянии: мебель покрывали белесые пятна, шторы протухли, зеркала безвозвратно помутнели, более-менее сохранились только те, что были в трельяже, видно, потому, что перед отъездом Автандил догадался задвинуть створки. Пол на кухне прогнил, Назели чуть не провалилась в подклеть, в последний миг успела отскочить. Мыши свили норки в диванных подушках и насквозь прогрызли шерстяной матрас, превратив его в груду затхлого тряпья, – пришлось выволочь во двор и сжечь – вонь до вечера стояла такая, что не продохнуть. За дровами ходила аж через пять домов – Анес не преувеличил, половина жилищ стояла заколоченная. Старенькая Ано, к которой постучалась Назели, была ей несказанно рада, все ахала и приговаривала: дочка, сколько лет я тебя не видела!

– Не дадите мне немного дров? Запасусь – верну, – попросила Назели.

– Конечно! Бери, сколько хочешь. Сын потом еще наколет. – Старушка засеменила впереди, показывая, где поленница, и все расспрашивала – надолго ли вернулась, и если ненадолго, то на какое время.

– Навсегда, – ответила Назели. Мысленно отругав себя за то, что не надела что-нибудь с длинным рукавом – поленья занозили нежную кожу на сгибе локтя, – она принялась осторожно складывать их в охапку.

– А что с Автандилом случилось? – спросила Ано.

Назели нахмурилась.

– Анес успел всем растрезвонить?

– Я от Ануш узнала. А ей сын рассказал.

– Ах да, дети-то слышали. – Назели медленно пошла по двору, нашаривая подошвой туфли дорогу – дрова мешали разглядеть, что там под ногами.

Старушка шла рядом, несла несколько поленьев.

– Я тебя до дома провожу, не волнуйся.

– Спасибо, бабушка Ано, я сама.

– Мне несложно!

Она распахнула калитку, придержала ее, давая Назели пройти.

– Так что с Автандилом?

– Умер.

– Болел?

– Болел.

– Детей не случилось?

Назели споткнулась, выронила полено.

– Я сама, не нагибайся. – Ано с оханьем нагнулась, подняла полено, встала на цыпочки, подложила на самый верх охапки. Глянула снизу вверх, трогательно улыбнулась: – Была жирафиком и осталась.

Назели выдавила слабую улыбку. За худобу и высокий рост ее в деревне дразнили жирафиком. Как давно это было. Словно в прошлой жизни.

Пока матрас и диванные подушки тлели, распространяя вокруг удушливый, тяжелый смрад, она возилась с порядком заржавевшей жестяной печью – сначала растопила, чтобы хорошо накалилась, а потом, дав подостыть, долго скребла обломком кирпича и терла песком. К тому времени, когда на Салори надвинулась осенняя ночь, тяжелый дух спаленной шерсти и тряпья развеялся, оставив на месте костра горсть пепла и сажи, а на выскобленной дочиста печи закипал чайник. Кухню скудно освещала старенькая керосиновая лампа – электричества в доме не было, нужно будет сходить завтра в управу, попросить, чтобы подключили. Провал в полу пришлось накрыть куском фанеры, найденным на чердаке. Назели

вышла за полночь на веранду, долго простояла, прислушиваясь к прохладному дыханию ночи. Уснула в старом кресле, завернувшись в чудом не съеденный молью плед.

Если бы можно было взглянуть на Салори с высоты птичьего полета, то первое, что бросилось бы в глаза, это утопающие в осеннем разноцветье рыжие черепичные крыши и желтая лента дороги, разделяющая деревню на две почти равные половины – левую и правую. Называлась она Салори[5] не случайно – в сезон урожая сады практически темнели от тернослив. Ее вялили, сушили и даже мариновали, закручивали компоты и варенья, готовили острый соус – к мясу и рыбе, добавляли в выпечку и супы, гнали самогон – прозрачный и чистый, но очень крепкий – от пары стопок охмелеешь. К концу октября урожай шел на убыль – последнее, на что пускали сливу, – вяленые сухофрукты, на которые годились чуть перезрелые, подмерзшие плоды: их мыли, удаляли косточку, раскладывали на подносах и оставляли на ночь в почти остывшей хлебной печи. К утру подносы извлекали, накрывали марлей и давали сливе окончательно обсохнуть на свежем воздухе. А потом наполняли ею ситцевые мешочки и подвешивали под потолок холодного зимнего погреба. Такой чернослив редко подавали гостям – с виду он был совсем невзрачный, неказистый. Но салорийцы его особенно ценили – за насыщенную, подернутую печным дымком медовую мякоть. Потому припасы вяленой тернослив таяли вперед остальных, редко когда дотягивая до новогодних и рождественских праздников.

Назели только ее и успела навялить. Собрала перезрелую сливу, засушила в каменной печи старенькой Ано – свою топить не рискнула, столько лет простояла без дела, нужно сначала вызвать печника, чтобы убедиться, что все с ней в порядке. Запаслась провизией – договорилась с Анесом, съездила в Ванаван и привезла с фермерского рынка три мешка картошки, морковь, свеклу, капусту, растительное масло, сушеную фасоль, кукурузу, муку. Надолго хватит.

Она неустанно хлопотала по дому – терла, скоблила, ошпаривала кипятком и обрабатывала содой. Стены, чтобы справиться с плесенью и грибком, промыла слабым раствором уксуса, потом, дав им хорошенько проветриться и обсохнуть, побелила в три слоя. Договорилась с сыном старенькой Ано, тот за вполне божескую плату помог ей привести в порядок сад – спилил несколько безнадежно больных деревьев, у остальных обрезал ветви, тщательно обработав места срезов раствором медного купороса. Падалицу зарыл в дальнем углу двора, компостную яму с опавшей листвой присыпал известью – будет удобрение на следующий год. Поднял стену курятника и привел в порядок частокол. Организовал покупку дров, наколол их. Хотел было убрать поленья под навес, но Назели попросила сложить их под лестницей веранды, на случай, если школьникам нужно будет под навесом непогоду переждать. К концу недели сын Ано привел кровельщика, который, попросив вперед половину денег, перебрал черепицу на крыше, а заодно перестелил кухонный пол и отремонтировал чугунную колонку в каменной бане. Теперь можно было мыться с удобством, а не стоя в медном тазу и поливая себя из ковшика быстро стынущей водой.

Спустя почти месяц каторжного труда отсыревший и поникший дом постепенно стал превращаться в уютное жилище.

– Аж глаз радуется, – проскрипела старенькая Ано, окинув довольным взглядом девственно-белые стены и натертые мастикой линялые половицы.

– Надо было полы перекрасить, но уже не успела. Ничего, весной доделаю, – махнула рукой Назели.

– Успеется еще!

[5] Салор – слива (*арм.*).

Школьники теперь пережидали дождь на крохотной веранде соседнего дома. Когда Назели спросила, почему под навес не идут, они растерялись и отвели глаза. Лишь Анаит простодушно пояснила, что так им матери велели. На нее зашикали, но было уже поздно.

– Ну, раз матери – тогда ладно, – закруглила разговор Назели.

Отношение деревенских женщин к ней оставалось прохладно-отстраненным, впрочем, ее это особо не печалило – не до того было. Дети всегда здоровались, старики к ней благоволили, пастух дед Само, гнавший каждый вечер стадо мимо ее дома, почтительно здоровался, приподнимая потрепанный, выцветший от времени и солнца картуз, Назели выносила ему попить, интересовалась здоровьем. Дед Само отвечал обстоятельно, коровы и козы терпеливо ждали, когда он закончит свой рассказ. Старая Ано заглядывала почти каждый день – то чаю попить, то поговорить, обязательно выручала с тестом – за десять с лишним лет жизни в городе Назели разучилась печь хлеб. Анес часто заходил – поинтересоваться, как дела, предлагал помощь, Назели относилась к нему как к родственнику – в свое время он очень поддержал ее семью – когда отец тяжело заболел, именно Анес нашел нужных врачей. Правда, отца это не спасло, но хотя бы облегчило его уход, он умер, когда Назели было пятнадцать, мать она потеряла еще раньше, осталась старенькая бабушка и больше никого. А потом и бабушки не стало.

Дом Назели стоял на отшибе, вышел за забор – и оказался на кромке широкого поля, обрамленного с противоположного края почти облетевшим лесом. Тишина по осени стояла такая, что можно было услышать биение своего сердца. Если не оборачиваться, казалось, что никого в этом мире нет. Но даже обернись, ровным счетом ничего бы не изменилось – Назели была абсолютно, бесповоротно и оглушительно одинока.

Единственным магазинчиком Салори заправляла мать Агарона – дородная, рано поседевшая и оттого выглядевшая намного старше своего возраста голубоглазая женщина. Она обернулась на стук двери, разглядела, кто вошел, выпрямилась и сложила на груди рыхлые руки. Назели кивнула ей, не дожидаясь ответного кивка, нырнула за стеллаж, набрала нужное, выложила на прилавок.

– Мне бы еще хозяйственного мыла. Старого, кондового. Если есть, – она говорила, нарочито долго роясь в сумке в поисках кошелька, хотя Сильва отлично его видела – он торчал из бокового кармашка так явственно, что не заметить его Назели не могла.

Сильва прошла в подсобку, принесла завернутое в газетный обрывок мыло. Сложила покупки в пакет, попутно высчитывая сумму на калькуляторе. Назели ждала с распахнутым кошельком, чтобы отдать деньги.

– Больше ничего не надо? – спросила Сильва, подняв на нее водянистые глаза.

Назели была уверена, что заговаривать с ней Сильва не станет, если только сумму на калькуляторе молча продемонстрирует, потому машинально переспросила – сколько?

– Три тысячи пятьсот двадцать драмов.

– Нет, спасибо, ничего больше не надо.

Сильва отсчитала сдачу, протянула ей.

– Говорят, ты насовсем вернулась.

– Да.

– Сколько лет тебя не было? Десять?

– Двенадцать.

– Мужики все уехали. Не к кому тебя ревновать.

И, моментально пожалев о сказанном, Сильва растерянно развела руками и виновато улыбнулась. Назели, ничего не говоря, направилась к выходу.

– Пакет забери! – крикнула ей вдогонку Сильва.

Но она вышла не оборачиваясь.

Вечером Сильва занесла покупки. Навес было не узнать – задняя стена была обложена изнутри блоками утеплителя, остальные отделаны кирпичом, пол покрыт решеткой из деревянных брусьев, на земле лежал стройматериал – цемент, шифер, доски. Назели как раз выносила мусор из-под навеса.

– Ну что ты как дурочка! Пошутить, что ли, нельзя? – крикнула от калитки Сильва. Подходить почему-то заробела.

Назели прошла мимо, опрокинула на мусорную кучу полный совок всего, что вымела из-под балок. Вернулась дометать.

Сильва повесила пакет на забор.

– Вот твои покупки. Мне чужого не надо.

Назели хмыкнула, но смолчала. Сильва словно этого хмыка и ждала – ткнула руки в боки и пошла к ней, приговаривая: «Ей-богу, как дурочка!»

– Это я дурочка? – Назели сердито выпрямилась. – А вы, значит, от большого ума запретили детям под этим навесом собираться, да? На тесной веранде, конечно же, им лучше!

Сильва промолчала, но шаг свой не сбавила. Подошла вплотную к груде стройматериалов, поддела носком туфли рулон утеплителя.

– Ну и что ты возмущаешься, раз тут стройку затеяла?

– Ходили бы дети – не затеяла бы, – снова взялась за метлу Назели и принялась, неловко налегая плечом на черенок, выметать из-под брусьев древесную стружку.

Сильва невольно залюбовалась ею. Даже в бесформенной куртке и небрежно повязанной косынке она умудрялась выглядеть удивительно красивой и грациозной. Ни за что не поверишь, что в деревне родилась. Всю жизнь как белая ворона – не так одевается, не так ходит. Баб это бесило, а мужики аж шеи вслед сворачивали. Акунанц Григор так вообще рехнулся – на цыпочках перед ней ходил, надышаться не мог. Она ему ни да ни нет, глазки строит, но дистанцию держит, даже за руку взять себя не позволяла. Зато подарки принимала, в Ванаван на вечерний сеанс в кинотеатр с ним ездила, домой провожать разрешала, правда, дальше калитки пройти не давала. Бедный Григор аж извелся от любви, кольцо купил и свататься собрался, а она вдруг махнула хвостом и за Автандила замуж пошла. В день свадьбы Григор напился до чертиков, угнал мотоцикл соседа, разогнался и со всей дури впечатался в железные ворота школы. Мотоцикл вдрызг, а Григору хоть бы хны. Не зря говорят, что пьяных Бог бережет. Люди потом много раз ходили поглазеть на вмятину в воротах, все никак не могли взять в толк, как после такого удара можно не просто выжить, а отделаться всего лишь несколькими царапинами. Григор отсидел пятнадцать суток за хулиганство, возместил соседу стоимость мотоцикла, поставил школе новые ворота и женился со злости на Еноканц Вале. Но на этом не успокоился – то цветов для Назели в поле нарвет, то уедет в командировку, какую-нибудь милую безделушку в подарок привезет. Она от подарков отказывалась, а завидев его на улице – переходила на другую сторону, чтобы не давать ему повода заговорить с ней. Валя ревновала и плакала, Автандил скандалил, мужики качали головой, но шеи за Назели исправно сворачивали. Бабы терпеть ее не могли, да и как можно такую терпеть – красивая, своевольная, гордая. Носит всякое непристойное – то брюки облегающие, то пуговицы на кофте расстегнет так, что ложбинка между грудями видна, то юбку короткую наденет, ходит, коленками сверкает. Ну и досверкалась однажды до беды – не выдержал Григор, рухнул посреди улицы перед ней на колени, обнял за ноги – не могу, говорит, без тебя жить. Еле оттащили. Валя на сносях была, потому ее поберегли, ничего рассказывать не стали, а вот Автандилу кто-то проговорился. Тот, вконец обозлившись, вызвал Григора на разговор, сначала совестил, потом стал распаляться, слово за слово, случилась ссора, вылившаяся в драку. Автандил был крупнее и сильнее Григора, ну и поколотил его изрядно: ключицу сломал, руку вывихнул, передние зубы выбил. У Вали от переживаний отошли воды, роды получились стремительными, ребенка еле спасли. Григор заявление в милицию писать отказался,

но явился, перебинтованный, к Автандилу, потребовал извинений. Автандил вытолкал его взашей со двора и пригрозил в следующий раз убить. «Сяду, но к моему дому ты больше не подойдешь!» – кричал он ему вслед.

Симпатии деревенских были на стороне Вали и Григора, оно и понятно, кого жальче, того и привечаешь. Ну и поползли нехорошие разговоры, мол, дыма без огня не бывает, значит, Назели чего-то там крутила с Григором или вообще приворожила – виданное ли это дело, чтобы женатый мужик так безрассудно себя вел! Несколько недель спустя эти слухи дошли до Автандила, тот сначала дернулся разбираться, но Назели его удержала, а через какое-то время убедила переехать – все равно никого из родных в Салори не осталось, кто был – помер, а другие давно переселились. Отбыли они молча, ни с кем не попрощавшись, оставив мужиков маяться легким чувством вины – ведь, положа руку на сердце, каждый из них, оказавшись на месте Автандила, повел бы себя ровно так же. А вот бабы вздохнули с облегчением – некому теперь перед их мужьями полуголой мельтешить. Григор первое время ходил мрачнее тучи, потом успокоился и затих, зато Валиному счастью не было предела. Именно потому возвращение Назели обернулось для нее громом среди ясного неба – бедная аж с лица спала, когда ее увидела. Да и бабы напряглись – даром что почти у всех мужчины в отъезде, но мало ли как потом дело обернется! Они к январю вернутся, а тут эта – красивая и ухоженная, не то что они, расплывшиеся квашни!

Сильва всеобщего уныния не разделяла, но и особого желания дружить с Назели тоже не имела. Просто рассудительно решила, что пора образумиться – времени-то утекло немало, чай, не дети, чтобы по-глупому враждовать. Потому при первой же возможности заговорила с ней. Вышло, правда, коряво, вот и пришлось тащиться на край деревни, чтобы занести покупки. Можно было, конечно, с Агароном завтра передать, но лучше самой – раз уж взялся за дело, то доводи его до конца.

– Что ты тут затеяла? – спросила она примирительно, кивнув на строительные материалы.

– Там видно будет, – буркнула Назели.

– Не хочешь рассказывать – так и говори. Зачем тень на плетень наводить?

Назели провела по лбу тыльной стороной ладони, убирая выбившиеся из-под косынки пряди волос. Чуть поколебавшись, ответила:

– Салон хочу открыть.

– Что?!

– Салон красоты. Буду стричь, укладывать, красить. Могу подсказать, как правильно подобрать одежду.

Сильва растерянно моргнула. Никто из деревенских женщин косметикой не пользовался, если только кремом, и то не магазинным, а собственного приготовления – настоянным на ромашке и зверобое растительным маслом, которое подходило и для тела, и для лица. Стригли друг друга сами, укладок никаких не делали – расчесала волосы, затянула в узел, закрепила шпильками на затылке – вот и вся красота.

– Кому это надо? – справившись с замешательством, спросила она.

Назели пожала плечами.

– Мало ли, вдруг захотите что-то в себе изменить. Я сидеть без дела не могу, а ничего, кроме этого, не умею.

– Для чего меняться? Нам и так хорошо.

Назели скользнула взглядом по растрепанным волосам Сильвы, но говорить ничего не стала.

– Ты только снова не обижайся. Я-то ладно, но бабы, они же, сама понимаешь… – Сильва запнулась.

– Терпеть меня не могут, – закончила за нее Назели.

– Ну да. Ты бы хоть порасспрашивала их, пойдут они к тебе или нет, перед тем как стройку затевать. Расход-то немалый.

– Не пойдут, так приспособлю помещение под что-нибудь другое.

– Тебе что, деньги некуда девать?

Назели неопределенно пожала плечами, но потом все-таки со вздохом призналась – денег, как у всех, кот наплакал.

– Так зачем же тогда… – Сильва оборвала себя на полуслове, обошла навес по периметру, обстоятельно рассмотрела, кивнула, соглашаясь со своими мыслями. – И вообще, можно было комнату в доме под салон определить. Денег бы уйму сэкономила.

Назели поджала губы.

– Хотелось, чтобы все было как у людей. Да и… – она отвела взгляд, – пустой навес раздражал.

Сильва расстроенно цокнула языком. Подержала совок, помогая Назели намести туда остатки мусора, попрощалась и ушла, обещав заглянуть к открытию салона. На душе было неожиданно легко и светло – Сильва была незлобивой женщиной и радовалась тому, что помирилась с Назели.

Недалеко от своего дома она натолкнулась на двух соседок: те, явно чем-то расстроенные, шептались, прерывая шушуканье возгласами сожаления.

– Случилось чего? – спросила Сильва, замедлив шаг.

– Я с мужем только что по телефону разговаривала, – ответила одна из них, Мериканц Ануш, и, запнувшись, уставилась на другую, словно спрашивая одобрения.

– И? – поторопила Сильва.

– Знаешь, как Автандил умер? В аварии погиб. У них, оказывается, ребенок был. С отцом… в машине был… Никого, в общем, не спасли.

Сильва прижала руку к тому месту на груди, где, высоко подпрыгнув, заколотилось сердце. Подробностей о смерти Автандила никто не знал, на расспросы старой Ано Назели уклончиво отвечала о его болезни. О ребенке она ни разу не упоминала. Кто же мог знать!

Соседка меж тем рассказывала, поминутно спотыкаясь о слова:

– Муж только вчера узнал, хотя, оказывается, в апреле случилось… похоронили в Калуге, вон куда они переехали… Назели все это время в больнице лежала… наглоталась таблеток… сначала ее от отравления лечили… потом в клинику для нервических положили… недавно выписали… они на съемной квартире жили, так ничего оттуда она забирать не стала… ни мебель, ни технику… сдала ключи хозяевам и уехала.

К началу ноября сын старенькой Ано достроил навес, провел туда электричество. Назели съездила утренним автобусом в Ванаван, вернулась с ворохом покупок, специальным парикмахерским креслом и широкой плоскодонной раковиной, которую собиралась приспособить под мойку для волос. Анес собственноручно установил раковину в углу помещения, за деревянной ширмой.

– Поливать придется из ковшика, – смущенно пояснила Назели, кивнув на чан, где должна была нагреваться вода.

– Ничего, дело пойдет – проведешь воду, – утешил ее Анес.

Они перетащили из дома трельяж с чудом сохранившимися зеркалами, комод, небольшую деревянную лавочку и журнальный столик. Включили и проверили масляный обогреватель – тот мгновенно зачадил, но Анес успокоил Назели – с новыми обогревателями такое случается, потом распахнул окно, давая выветриться запаху гари. Прощаясь, пообещал заглянуть назавтра.

– Буду твоим первым клиентом!

– Рано стричь тебя, вон, волос еще не отрос, – усмехнулась Назели. – Лучше жену привози, я ее накрашу и уложу.

– Ладно, вечером нас жди.

– Спасибо тебе большое за помощь.

– Да что там!

Выходя, Анес споткнулся о порог, вцепился в дверной косяк, удерживая равновесие. Назели приобняла его, подставила плечо.

– Ноги в последнее время донимают. Ходить стало невмоготу, – прокряхтел он.

– У врача был?

– Был.

– Что говорит?

– А что он скажет? Хромота не лечится. Бери, говорит, костыли. Или вообще в коляску пересаживайся. Но я пока так, не сдаюсь.

– Ты ведь детей возишь!

– Водить мне нормально. А ходить тяжко стало.

Назели проводила его до автобуса, убедилась, что он благополучно отъехал, а потом до ночи провозилась в салоне – обила сиденье лавки гобеленом, чтобы посетителям мягко было сидеть, убрала в комод стопки полотенец, расставила на трельяже флакончики с жидкостями для укладки волос, лаки и муссы, принесла из дому кофр.

Утром на заборе ее дома висела фанерная вывеска: салон красоты «Пери», время работы: ежедневно, с 11.00 до 19.00.

В тот же день, в сопровождении младших дочерей, заглянули несколько женщин – поздравить с открытием и посмотреть, как салон выглядит изнутри. Назели, которая не надеялась на благосклонное отношение землячек, даже не пыталась скрыть своей радости – поблагодарила за визит, выставила угощение, заварила кофе, детям налила лимонад. На столике высилась стопка красочных журналов, пока женщины, попивая кофе, листали их, любуясь юными моделями, она заплела девочкам нарядные косички.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.